

Северная роза

Автор:

Елена Арсеньева

Северная роза

Елена Арсеньевна Арсеньева

Русская девочка Даша оказывается на чужбине и попадает в католический монастырь. Трудится в саду, смиренно ожидая пострига... Но женщины, даже совсем юные, – это вечные игрушки в руках мужчин! Красавицу замечает богатый сладострастник – и судьба ее, кажется, навеки решена. Быть ей в содержанках и любовницах, пока не увянет красота. А дальше... Но загадывать так далеко прекрасной Троянде, как теперь себя называет Даша, нет смысла – ведь жизнь ее висит на волоске. Интриги, заговоры, убийцы, лжесвидетели – и среди этой совсем не монастырской жизни вспыхивает ее первая любовь...

Ранее книга издавалась под названиями «Отрава для сердец» и «Город грешных желаний»

Елена Арсеньева

Северная роза

Звезда, что с неба сорвалась

И волн морских коснулась,

Бойся утонуть.

Но ты не бойся утонуть

В волнах любви моей![1 - Здесь и далее стихи даются в переводе Е. Арсеньевой.]

Пьетро Аретино

Пролог

Москва, 1525 год

...Она лежала у его ног и наконец-то была покорна ему – отныне и навеки. И ничья более дерзновенная рука не отнимет ее у того, кому она принадлежала теперь безраздельно, тому, кто был властен в ее жизни и смерти.

Марко резко оглянулся – слышалось движение за спиной.

И впрямь! Ванька-то еще жив! Хрипит, бессильно шарит по полу скрюченными пальцами. В последнем дыхании силится ухватить камчу, всегда висевшую у него на мизинце, так, чтобы удобно было размахнуться в любой миг. Как он наслаждался, поигрывая этой зловещей плетью, помахивая перед хмурым лицом чужеземца, который был для Ваньки хуже последнего холопа, нечестивее беса, грязнее грязи...

Марко хохотнул и, чувствуя какое-то свирепое удовлетворение, родственное вожделению, наступил каблуком на слабо вздрагивающее горло ключника.

Кудрявая голова резко запрокинулась, голая грудь поднялась и уже не опустилась. Кровь заклокотала меж губ, зеленые глаза вмиг обесцветились, и то, что несколько мгновений назад было красивым, молодым, удалым лицом, превратилось в недвижимо-покорную, блеклую маску.

Марко подошел к сундуку, где Анисья держала ларчик со своими уборами; погляделся в светлое стекло. Собственное лицо сперва почудилось ему диким, пугающим, незнакомым, но сейчас было не до того, чтобы всматриваться в глаза

убийцы, глядевшие на него. Он поднял шкатулку повыше, скосился, пытаюсь увидеть свой лоб, даже потрогал его для верности.

Лоб как лоб. И никаких рогов. Все! От этого он вовремя отделался!

Хотя кого бранить, кроме себя? Ведь с первого взгляда на Анисью было ясно, что она – дочь порока, которая всякого мужчину рано ли, поздно наградит рогами или, как говорят русские, под лавку положит... Ясно-то оно было ясно, да вот беда – все равно не устоять!

Беда... Беда!

* * *

Впервые встретив ее, Марко глазам своим не поверил и даже украдкой скрестил за спиной пальцы, отгоняя беса. Но прекрасное видение, возникшее перед ним, не пропало, а все так же смиренно стояло у ворот, заслоняясь широким рукавом, а другой рукою протягивая ему висящую вниз головой пеструю курицу, которая смирилась со своей участью быть нынче сваренной и лишь изредка судорожно трепыхала крыльями.

Впрочем, на курицу Марко тогда смотрел менее всего, ибо стоило ему поймать взгляд ярко-синего, словно сапфир, глаза, выглядывающего из-за алого рукава, увидеть тугой, будто вишня, рот, застенчиво произносящий: «Не судите, господин, дозвольте слово молвить», – как он просто-таки врос в траву-мураву у этих тесовых ворот, забыв о том, что надобно спешить, что его ждет новый знакомец Михайла Воротников, что, наконец, вообще небезопасно говорить с русскими женщинами на улице: того и гляди выскочит разгневанный супруг с холопами – забьют до смерти, не дав слова в свое оправдание сказать, ибо всей цивилизованной Европе ведомо: русские раньше бьют, а потом спрашивают, виноват ли битый!

С трудом сообразил, чего от него хочет женщина: ни брата, ни кого из мужской прислуги на подворье не было, а для обеда необходимо зарезать курицу. Она бы и сама это сделала, да ведь нельзя. Обычай не велит!

Марко уже довольно пожил в Московии, чтобы знать некоторые основные обычаи русских. Например, известно: пищей, приготовленной из того, что убито руками женщины, гнушаются, будто нечистым. Прикончить рыбу, свернуть голову птице, заколоть поросенка должен какой ни есть мужчина. Хоть бы и первый встречный прохожий человек!

Марко протянул руку и принял бледные куриные ноги, стараясь при этом как бы невзначай коснуться унизанных перстнями пальцев незнакомки. Она, застенчиво потупясь, сделала знак идти за ней и протиснулась в калиточку. Марко вслед за незнакомкой очутился в небольшом дворе, поросшем травкою.

Крыльцо с колоннами и остроконечной кровлею вело на террасу. Двухэтажный дом был невелик, неказист, но Марко взглянул на его бревенчатые стены с восторгом: тут жила она! Хотел было припасть к руке незнакомки, назваться, расспросить о ее имени и звании, сказать, что...

Однако они были не одни на дворе. Девка в посконной рубахе, забыв даже прилично заслониться рукавом, глазела на Марко разинув рот. Да и было на что посмотреть: Марко был высокий, смуглый, черноглазый, с длинными, нарядными ресницами и тонкими, словно бы нарочно насурмленными бровями. Коричневый бархатный камзол, в отличие от русских тяжелых, просторных одежд, прилегал к стану, будто перчатка, штаны обливали стройные ноги...

На эти-то штаны она и уставилась, бесстыдница!

Марко с такой яростью свернул шею злополучной курице, словно это был его самый лютей враг, и сунул в лицо служанке, вынуждая наконец-то отвести глаза. Девка схватила курицу и затопталась на месте, но окрик хозяйки:

– Чего стала? Беги в поварню, дура, да чтоб быстро ощипала птицу! – вернул ей рассудок, и она неловко затрусилась в дом, поминутно оглядываясь на красивого незнакомца и крестясь.

– Спаси вас Бог, сударь, не дали нам пропасть, – сказала меж тем хозяйка, опуская наконец алый рукав и открывая взору Марко свое зарозовевшее от смущения лицо.

Если с ним содеялось такое смятение лишь при беглом взгляде на нее, что же было теперь, когда он увидел эти невероятно синие глаза, и начерченные полукружья бровей, и свежий маленький рот, и тугие щеки, и белую шею, стиснутую ожерельем, и плавные выпуклости под скромно застегнутым травянисто-зеленым летником?! Да что это, что это творится?! Он разум теряет! Или она – колдунья, мгновенно очаровавшая его?

Нет, надо бежать. Того и гляди – воротится супруг этой москвитянки – и пойдут клочки по закоулочкам.

Марко неловко повернулся боком, буркнув:

– Addio, signora![2 - Прощайте, госпожа! (итал.). – Здесь и далее прим. автора.] – ринулся к воротам и ахнул, ударившись о твердое, как скала, тело высокого человека, преградившего ему путь.

Все. Все кончено. Пропал он...

– Господин Орландино! – возопил зычный голос, и мощные руки, вместо того чтобы размазать черты венецианца по черепу, схватили его за плечи и затрясли с таким пылким дружеством, что голова замоталась, как у тряпичной куклы, а зубы начали выбивать дробь. – Господин Марко! Сударь любезный! Ну, молодец, что пришел, а я, вишь ты, ковами[3 - Кознями (старин.).] дьяволовыми был от дела отвлечен. Пожар вспыхнул на складах, что у Яузы стоят, да, спаси Бог, вовремя я про свою невзгду спознал! Вся дворня со мною ринулась, да с баграми, да с бадьями! Ну, Господь оберег: за два только строения огонь до моего амбара не дошел. Добра погорело, скажу я тебе...

Говоривший отчаянно махнул рукой, но большое лицо его исказилось не гримасой горя, а довольной улыбкою.

Марко смотрел тупо. Он только теперь начал соображать, что нечаянной волею Провидения забрел именно на тот двор, который искал. А молодница, зазвавшая его, не иначе, жена его нового торгового партнера Михайлы Воротникова.

Ревность, разочарование так и ударили по сердцу, а потому он не смог оценить значения улыбки Михайлы и лишь проблеял в ответ что-то сочувственное.

– Да ты что? Оглох? – счастливым басом продолжал греметь Воротников. – Не слышал, чего говорено? Погорели нынче и Артамошка Гаврилов, и Никомед Позолотиков, и Сашка Рыжий! Там еще целы склады Крапивина да Ваньки Сахарова, но они нам не соперники. Что их товар противу моего? Все наши соболя, да горностаи, да векши[4 - Беличьи шкурки (старин.)] знаешь в какую цену войдут?!

Мозги у Марко постепенно прояснялись. Да ведь правду говорит Михайла! Пожар означает, что у него почти не остается конкурентов на московском меховом рынке, он теперь может диктовать свои условия что соотечественникам, что греческим купцам, которые ждут не дождутся завтрашних торгов, чтобы отправить домой последние обозы с пушным товаром этого года. Ан нет! Не будет никаких торгов! Все, что осталось в пушных амбарах, теперь принадлежит ему, Марко Орландини!

А эта женщина, которая, оказывается, была не женой, а сестрой Михайлы, тоже будет принадлежать ему!

Случилось всего лишь то, что должно было случиться, что было predetermined с первого мгновения их встречи, когда Марко вдруг захлестнула ошеломляющая чувственность, которой так и дышало все существо этой женщины. О нет, она держалась скромницей, и ежели на подворье и в доме своем не носила траура по недавно скончавшемуся мужу, то при редких выходах ее на улицу все блюлось чин чинком: почти монашеская строгость в одежде, никаких там красных рубах, самоцветных зарукавий, зеленых или синих летников: все, от черного платка до потупленного взгляда, соответствовало личине неутешной вдовицы, заживо похоронившей себя в печали. Впрочем, Анисья откровенно наслаждалась своей вдовой жизнью, а потому, когда Марко сделал ей предложение (он дошел и до этого, о Святая Мадонна!), чуть ли руками не замахала: окстись, мол! Нет, он ей нравился, безусловно. Но она просто не хотела идти замуж ни за кого!

– У нас ведь как? – ласково говорила Анисья Марко, пытаясь объяснить, что никакой для него обиды нет в ее отказе. – Жена – раба подневольная, а вдова – сама себе госпожа и глава семейства. Даже в законах сказано: горе, мол, обидевшему вдовицу, лучше ему в дом свой ввергнуть огонь, чем за воздыханья вдовиц быть ввержену в геенну огненную. Я теперь сама себе хозяйка. Хочу – живу у себя в Коломенском, хочу – у брата в Москве. Дочка со мной. Все с почтением глядят, никто не учит, никто под руку не суется, никакая холопская

собака на меня не лает, мужу не наушничает. О побоях, слава те Господи, думать забыла! Нет, не пойду сызнова под ярмо! У нас, знаешь ли, говорят: кто не бьет жены своей, тот дом свой не строит, и о своей душе не радеет, и сам погублен будет, и в сем веке, и в будущем, и дом свой погубит. Мой-то, покойник, старался как мог! Еще спасибо, что по нраву ему была белизна кожи моей: синяков не ставил, кулаком или дрючком до смерти не молотил, только через платье дураком[5 - Так называлась плеть, нарочно предназначенная для наказания жены.] охаживал да за волосы таскал. Но с меня и этого достало! Ну что за жизнь мужней жены у меня была? Сиди дома, как в заключении, знай себе пряди. Дочку родила, Дашеньку, – мой-то недоволен был, ох, гневался, что не сын! А она-то, милая моя, ну чистый розан, такая красота писаная! Нет, избил меня до полусмерти, а дочку кормилицам да нянькам отдал. Опять сиди, жена, в светелке: пряди! Уж иной раз думала напрясть себе на удавку... нет, убоялась греха. А уж скука жить была – мочи нет! День и ночь я всегда в молитве пребывала и лицо свое слезами умывала. Даже и в храм Божий весьма редко меня допускали, еще того реже – на беседы со знакомцами, да и то ежели эти знакомцы – старичье немощное!

Ну что же, Марко мог понять сурового стража – покойного супруга Анисьи: грех у бабы так и лился из очей! Небось даже и почтенные старички при виде ее вспоминали былые подвиги!

Теперь-то Анисья была и впрямь сама себе царица. Живя у брата, который крепко ее любил и слова ей поперек никогда не говорил, да и вообще – слишком был занят своими торговыми делами, чтобы вникать в хозяйственные, Анисья держала весь дом в своем пухлом, мягком кулачке и, надо отдать ей должное, блюла добро брата, будто свое собственное. Конечно, она должна была всех раньше вставать и позже всех ложиться, всех будить – если служанки будили госпожу, это считалось не в похвалу госпоже, – зато была в доме полной властительницей. И слово ее было в отсутствие брата законом. И ежели она говорила, что после обеда идет в мыльню, а всем велит спать, то все и шли спать (старинный обычай послеполуденного сна или, по крайности, отдыха вообще свято блюлся на Руси, всякое отступничество считали в некотором роде ересью), и никто не выглядывал ни на заднее крыльцо, к которому в эту пору, хоронясь в тени забора, прокрадывался по огороду нечаянный гость, ни тем паче не совался в небольшую мыльню, размещенную в подклети, между кладовок, где разомлевшая хозяйка полеживала на лавке, поджидая любовника.

Но в голове Анисьи словно бы петух пел в урочный час: стоило ей почуять, что уже истекает время послеобеденного отдыха, как она прохладно целовала Марко, выталкивала прочь с наказом уходить скорее, стеречься от нечаянного глаза... и непременно приходиться завтра. Марко брел на подгибающихся ногах и с суеверным восторгом, который был сродни ужасу, думал, что не иначе – она зачаровала его. Околдовала!

Она могла... Марко не сомневался, что Анисья все могла!

Однажды она дала Марко шелковый мешочек, в котором тонко и сухо что-то шелестело, и сказала, что это – трава осот, весьма большое подспорье в торговых делах. Марко верил только в свою удачу, но подарок принял с благодарностью. Только Святая Мадонна знает, в чем крылась причина – в удаче или в осоте, но невозможно было не заметить, как улучшились вдруг его дела! Мало того, что Михайла не изменил слову и не взвинтил цену на свой товар, не передал его другому покупателю, хотя мог теперь, после пожара, выбирать. Марко продал его меха с такой выгодой, какой даже предположить не мог в самых смелых мечтах. Он мог бы уже возвращаться в Венецию, но рассудил, что возьмет партию хорошего товара, например меду. Пришлось ждать до конца лета. Марко ничего не имел против: как это так, вдруг расстаться с Анисьей?! Подождет и осени, потому что это значило увезти с собой не только мед, но и чистейший воск. А потом вдруг явилась ему в голову отличная мысль: прикупить еще мехов на первых зимних торгах!

Он и остался. Ради Анисьи.

Анисья, конечно, была не простая женщина, а как здесь говорили, вещая женка. И она овдовела не само собою, по причине естественной: она своего мужа извела, сжила со свету, а его, Марко, приворожила.

Марко знал сие доподлинно: Анисья сама ему призналась в одну из тех минут особенной, всепоглощающей откровенности, которые редкость даже между любовниками, а потому особенно ценны.

Марко, истомленный, счастливый, лежал навзничь, бормоча ставшее уже привычным: «Ох, да что же ты со мною сделала!» – Анисья пресерьезно выпалила:

– Приворожила, что ж еще!

– При-во-ро-жи-ла? – по складам повторил Марко неведомое слово, и Анисья простодушно и бесстыдно объяснила:

– На мыло наговаривала: мол, коль скоро мыло смывается, так бы скоро и Марко, красавец да прелестник, меня полюбил. И еще на соль: мол, как люди соли желают, так бы и он меня пожелал! И на ворот рубахи твоей шептала: мол, как ворот к телу льнет, так и Марко, душа моя, льнул бы ко мне, рабе Божией Анисье!

И снова взыграли в нем силы желания, и прильнул он к своей любушке, как ворот к телу льнет, желая ее так же, как люди соли желают... И любовь, чудилось, будет длиться вечно! Но скоро предстояло ему убедиться, что нет ничего вечного под солнцем: может быть, оттого, что Анисья-то его приворожила, а он ее – нет!

Марко никогда не нравилось, что Анисья так много хлопочет по хозяйству. Конечно, русские были уверены, что хозяйка должна знать всякое дело лучше тех, что работали по ее приказанию: и кушанье сварить, и кисель поставить, и белье выстирать, и выполоскать, и высушить, и скатерти, и полавочки постирать – и так внушать к себе уважение. Но Марко-то представлял себе, как прекрасная дама, госпожа, после утреннего моления отправляется в свои покои и садится там за шитье и вышивание золотом и шелками со своими прислужницами, так что даже кушанье к обеду заказывалось через прислугу. У богатых людей в Московии всем домом заведовал дворецкий – по польскому манеру, у купцов – ключник из холопов. И Марко поначалу только порадовался, когда Михайла, накануне своего отъезда на охотничьи промыслы, заявил, что намерен взять в дом ключника, да такого, чтоб всю дворню в железном кулаке держал! Выразив сие пожелание, Михайла отправился ключника нанимать и позвал с собою сестру да Марко, как человека вполне уже в доме своего.

Венецианец воображал, что найм сей произойдет на какой-нибудь ярмарке, в подобии торговых рядов, где простолюдины, желающие получить работу, будут выхвалять свои умения, как столяр, кузнец или квасник выхваляет свои изделия. Они и пошли в торговые ряды, однако почему-то в мясные, расположенные на льду вставшей Москвы-реки.

Марко решил было, что они ищут будущего ключника среди мясников, однако вскоре все разъяснилось: его приятели просто-напросто ожидали начала кулачной забавы.

Марко уже приходилось видеть, как, созываясь условным свистом, русские вдруг сбегаются – и без видимой причины, как бы ни с того ни с сего, вступают меж собою в рукопашный бой. Начинали они борьбу кулаками, но потом силились победить каким только можно способом, не стесняясь в средствах и силе ударов.

Наблюдая за этим, Марко едва сдерживал тошноту, Михайла же с сестрою откровенно любовались зрелищем, громогласно обсуждая стати то одного, то другого бойца и споря о том, кто останется победителем. В конце концов случай рассудил их: ражий да рыжий богатырь, уже одолевший всех своих супротивников, изготовился нанести губительный удар последнему храбрецу, как вдруг тот сделал обманное движение, выставил ногу, подсек силача под коленку... ноги у того разъехались, и он грузно грянулся на спину – на обе лопатки, что означало беспорное поражение.

Силач так и валялся, то ли не в силах осознать случившееся, то ли оглушенный падением, а зрители рукоплескали победителю, не нанесшему ни одного удара, но стяжавшему все лавры. Михайла и Анисья протолкались к нему поближе; Марко потянулся следом.

Михайла как замороженный схватил победителя за руку:

– Как имя твое, добрый молодец?

– Ванька, – ответствовал молодец. – Иван, стало быть.

– По нраву ты мне, Иван, пришелся, – прямо и откровенно, как делал он все, выпалил Михайла. – Не хочешь ли, коли от прочего-иного дела свободен, пойти ко мне внаймы и сделаться ключником?

Ни тени замешательства не мелькнуло на красивом, словно бы из серебра вычеканенном лице!

– Ключником? – с усмешкою переспросил Ванька. – А что ж! Отчего б не пойти, коли просишь? Только обозначь, какое положишь жалованье.

– Давай порядимся, коли согласен! – с явной радостью воскликнул Михайла. – Но как ты мне люб, то я тебя не обижу. Думаю, сойдемся в цене. Понимаю сам, что хлопот тебе много принять придется: я-то днями отправляюсь по делам, по купецкому своему промыслу, а ты у сестры будешь под началом.

– У сестры-ы?! – хитровато промурлыкал Ванька. – Молодка, что ж, не женка твоя, а сестрица? Коли так, столкуемся! – И с бесовским лукавством он воззрился на Анисью, которая, только что прикрываясь краем фаты, вдруг опустила тонкий шелк и прямо взглянула в глаза будущего ключника.

Нет, она не улыбалась приманчиво, не играла глазами – глядела оценивающе, как на товар, и когда вишневые губы ее чуть дрогнули в улыбке: «товар» явно был одобрен! – какой-то вещий холодок прошел вдруг по плечам Марко, и недоброе предчувствие заледенило его душу.

Ох, да надо было оказаться последним дураком, чтобы не понять, чем это кончится! Тем оно и кончилось.

* * *

...Ванька более не шевелился. Анисья-то уж давно затихла, но Марко все никак не мог от нее отойти. Когда-то он мечтал жизнь провести с нею рядом, он мечтал умереть вместе с ней и быть похороненным в одной могиле!

Глупец. Безумец! Правильно, что русские не верят в честь ни одной женщины, если она не живет взаперти дома и не сидит под такой охраной, что никогда не выходит. Правильно то, что они не признают женщину целомудренной, если она дает на себя смотреть посторонним или иностранцам, запальчиво думал Марко, не осознавая трагической смехотворности ситуации: ведь этим иностранцем был он сам! Да вообще – что он способен был осознать? Он спятил от страсти, которую эта женщина внушила ему, а потом растоптала так же походя, как топчут траву или цветок, не заботясь о его красоте.

Марко стиснул руками лоб. Пальцы были ледяные, а голова горела. Он убил, убил их, посмевших... он убил их, но почему у него такое чувство, словно убил он не Ваньку с Анисьей, а себя самого – себе отомстил?

Он укусил себя за кончики пальцев, так хотелось видеть чьи-нибудь страдания. Все равно чьи. Мучительно хотелось! В этом было спасение от ужаса и боли. Вот ежели б Михайла оставался дома, Марко порадовался бы, глядя на его слезы, слушая его горькие причитания по сестре. Но Михайлы нет... заплакать разве самому?

Он опять погляделся в зеркальную крышечку ларца. Его ли это лицо? Глаза горят черным пламенем, брови изломаны, и взор какой-то косой, вороватый...

Марко испугался безумия, которое увидел в собственных чертах. Швырнул ларчик об пол, да так, что он с треском развалился. Раскатился жемчуг, рассыпались самоцветы, запрыгали по полу малахитовые, округло обточенные бусинки. Вот забава для дитяти...

И вдруг его словно ожгло. Он понял, как отомстить Анисье! Говорят же, что сразу после смерти душа еще вьется над телом, не в силах отдалиться от него. Значит, Анисьина душа откуда-то глядит... может, вон из того уголка под потолком! – наслаждается страданиями своего убийцы. Марко погрозил кулаком в этот угол – и расхохотался. Недолго, недолго тебе наслаждаться!

Он лукаво поглядел в мертвое Анисьино лицо и выскочил в тесный коридорчик, пытаясь вспомнить расположение комнат. Да на втором этаже, собственно, только горница, да крестовая комната (что-то вроде домашней молельни), да светелки-спальни: Анисьина, Михайлова (теперь пустая) – и еще одна. Дочери Анисьиной! Дочь-то и надо Марко!

С отвращением и ненавистью взглянув на худенькое тельце, свернувшееся клубочком в пуховиках, он стащил девочку с постели, потащил было в соседнюю комнату, где еще витала душа изменницы Анисьи, чтобы увидела та, как закричит, забьется девочка на трупе, как зайдет в корчах ужаса, но вопль, раздавшийся за стеной, пригвоздил его к месту:

– Спасите люди добрые! Спасите, кто в Бога верует!

О, дьявол... Это голос служанки, Анисьиной служанки! Какая злая сила принесла ее ночью в опочивальню госпожи?! Она весь дом своим воплем переполошила! Сейчас затопают по коридорам, ворвутся, схватят...

Не выпуская девочки, которую он держал под мышкой, локтем зажимая ей рот, Марко подскочил к двери, опустил засов. А теперь? А дальше что? Перед мысленным взором с невероятной быстротой промелькнула виденная месяц или два назад казнь убийцы. Тоже мужик хаживал к любовнице, чужой бабе, – да и прибил ее, когда она отказалась с ним встречаться и впредь. Все точь-в-точь как у Марко, и, надо полагать, кара его настигнет точь-в-точь такая же: посадят его связанного на тачку, довезут до лобного места, да при этом станут щипать раскаленными щипцами. А потом отрубят руки, после чего четвертуют, и четыре части тела будут развешаны в четырех разных местах Москвы, руки же, учинившие убийство, пригвоздят к стене ближней церкви...

Ну, так не бывать же этому!

Ринулся к окну, рванул створки. Посыпались слюдяные вставки, расписанные разноцветно травами, листьями, сказочными чудовищами. Марко усмехнулся с презрением, вполне понятным для жителя города, где стекло было красивой обиходной игрушкой. Мечтал подарить Анисье настоящие венецианские стекла для ее светлицы... И мысль о мести вдруг снова овладела всем его существом, заставив даже позабыть о страхе.

Что-то толклось, реяло, мешалось в голове, какие-то замыслы клубились, точно грозовые тучи, но ежели б кто-то всеведущий взял на себя труд проникнуть в эту сумятицу и разложить все по полочкам, он добрался бы до имени Гвидо.

Гвидо – так звали младшего брата Марко Орландини, единственного человека, которого тот любил до тех пор, пока в один черный день Анисья не перешла дорогу. Гвидо было десять лет, и вот уже два года, как он жил в Риме, в монастыре Святого Франциска, куда отдали его по обету отца, в благодарность за чудесное выздоровление старшего Орландини от чумы. Отец уже и тогда был глубоким стариком; так что выздоровел он и впрямь чудом. Но спустя год он все-таки умер, и Марко частенько посещала святотатственная мысль: а не слишком ли большая цена за год жизни дряхлого старца – вся загубленная жизнь юного существа? Гвидо был мучительно несчастлив в монастыре, но уже в свои десять лет принимал свершившееся как неизбежность и готов был терпеть эту

каждодневную незаслуженную кару до смерти. Словом, Марко знал одно: жизнь монастырская для существа юного – адская мука на земле, и этой муке заживо он намерен был подвергнуть дочь Анисьи. Славная шутка: православную – в католический монастырь! И все для того, чтобы отомстить изменнице-матери...

Девчонка как-то слишком уж безропотно обвисала под его локтем, и он испугался – не придушил ли ненароком? Это было слишком легко, слишком просто, да и не нужно, это нельзя было допустить, и Марко встряхнул ее, заглянул в лицо. Нет, слава Пресвятой Мадонне, жива еще, но едва дышит от страха: светлые, серо-голубые глаза обесцветились, залитые слезами, в которых отражается-перемигивается огонек лампадки да лунный неживой свет.

– Молчи, не то убью, – прошипел Марко, с трудом подбирая слова. В самом деле: он знал по-русски лишь самые простые обиходные и деловые выражения, необходимые ему в торговле, да еще несчетно нежных, ласковых, потайных словечек. Злу, угрозе раньше просто не было места в его лексиконе!

Однако девчонка поняла: слабо мигнула – тяжелые слезы покатались по щекам, но она даже не осмелилась вытереть их. Такое послушание порадовало Марко. Он так же грозно велел ей одеться потеплее и, за ту минуту, пока девчонка торопливо натягивала на себя какое-то тряпье, схватил резной сундучок, похожий на большой печатный пряник: Анисья рассказывала, что, когда родилась дочь, она сделала ей особый сундучок, куда откладывала ценности для приданого. Ценности – это было хоть какое-то искупление для мучений, которые он претерпел от Анисьи. Марко пожалел, что уже нельзя добраться до опочивальни Михайлы, заглянуть в его сундуки, но тотчас вспомнил, что брат Анисьи, уезжая, почти все их отдал на сохранение в монастырь – так называемой поклажею, – а что осталось, взял с собою на покупку мехов. И сколько денег Михайла еще увез!

По бревенчатым стенам со второго этажа Марко спустился бы с закрытыми глазами, но теперь одной рукой он тащил девчонку, а другой цеплялся за примороженные бревна.

Луна посеребрила сугробы, и все вокруг, чудилось, звенело от стужи, но он не чувствовал холода, хотя был в одном камзоле. Марко осознал это, только ступив на землю, и ему вдруг сделалось на миг нестерпимо жарко, когда он вспомнил:

его короткий, легкий полушубок остался валяться на полу Анисьиной опочивальни, где Марко бросил его, безотчетно сдернув, – и забыл.

Ну, теперь уж точно надо бежать, и поскорее! Бежать не только отсюда, но и из Москвы, из всей Московии. Непременно, когда обнаружат полушубок, чей-нибудь ушлый ум вспомнит, кому он принадлежал... Тут уж не отговоришься, не оправдаешься – в момент поволокут на казнь...

Его начала бить дрожь. Ничего, какое-то малое время у Марко еще есть. Добежать до дому, где он стоял на постое, взять вещи, деньги. Мало, ох мало денег! Но зато он спасет жизнь, а в Венеции еще выручит хорошую плату за девчонку. Зачем, в конце концов, делать ее послушницей? Много чести этой мужичке! Марко продаст ее в услужение, в рабыни. В монастырские рабыни!

От этой мысли на сердце сделалось легче. Каково-то теперь Анисье, так любившей дочь? И каково будет ей глядеть с небес на мучения маленькой рабыни?

Он думал, а быстрые ноги уже донесли его знакомой тропой до частокола. Вот выломанная жердь, вот пролаз. Проскочил сам, протащил за собой девчонку. Она запуталась в полах, упала. Марко зло дернул ее за руку... Он знал, что придется ехать все время по лесам, терпеть всевозможные неудобства и трудности, но всякое неудобство сейчас казалось ему удобством. Он внушал себе ничего не бояться, настолько велико было его стремление оказаться подальше отсюда. Но ведь придется тащить за собой эту доуку... *Porco Diavolo* [б - Черт возьми (итал.)], не отомстит ли он сам себе, взваливши на плечи такую ношу?! Но все, дело сделано: куда ж деваться... Остается надеяться на нравы русские, говорящие: вдвоем в дороге веселее. И мысль о том, как страдает сейчас душа Анисьи, снова согрела его измученное существо.

Девчонка, покорно семенявшая рядом, тихонько всхлипнула. И Марко вновь пробормотал слова, которым суждено было стать их постоянными спутниками в этом долгом, мучительно-долгом пути от Москвы до Венеции:

– Молчи, не то убью! Эй, ты... как твое имя?

– Даша. Дашенька. Я...

– Молчи, не то убью!

Это было все, что он хотел знать о ней. И – довольно, довольно слов!

Венеция, 1538 год

Глава I

Выбор великого Аретино

– Ты совершенно уверен, Пьетро, что больше не хочешь меня?

Молодая дама с распущенными черными волосами, в которых сверкали алмазные нити, медленно поднимала край своего багряного плаща – так, что открывалась прелестная ножка в кружевном, туго натянутом белом чулке, обутая в бархатную алую туфельку. Спереди у туфельки был затейливый вырез, на чулке тоже был вырез, так что виднелись беленькие маленькие пальчики. Ногти были покрыты кармином, и когда пальчики шевелились, они напоминали каких-то необычайных красноголовых насекомых или тычинки росянки – того самого цветка, который пожирает мушку, неосторожно забравшуюся в его чашечку. А впрочем, в шевелении этих хорошеньких пальчиков было что-то весьма волнующее, поэтому неудивительно, что мужчина, раскинувшийся в кресле напротив дамы, смотрел на ее ножку с любопытством.

Дама между тем подтянула свой багряный плащ так высоко, что над расшитой золотыми узорами подвязкой показалось тонкое белое колено и даже часть бедра, и бросила выжидательный взгляд на мужчину.

Тот расхохотался:

– О Цецилия, ты прелесть! Ты просто прелесть! Обещай, что ты научишь ее делать так же!

Дама покачала головой:

– Этому невозможно научить, Пьетро. Это или есть у женщины, или нет. Что ты будешь делать, если твоя красавица окажется не очень способной ученицей?

– Я буду дрессировать ее, как жонглер дрессирует свою собачку. Впрочем, одного раза мне будет достаточно, чтобы уяснить, на что она способна. Может быть, мне не захочется тратить на нее силы, и тогда...

– И тогда? – переспросила дама, затаив дыхание. – Что тогда, Пьетро?

– Тогда я вернусь в твои объятия, красавица моя. Но сейчас не искушай меня своими прелестями! Ведь если я начну с аббатисы, то уже не захочу касаться сестер! – захохотал мужчина, резко вскакивая с кресла, но не изъявляя никакого желания предаться любви.

Цецилия тихонько вздохнула, поняв: ее звезда на небосклоне этого великого человека, самого интересного среди всех жителей Венеции, если и не закатилась вовсе, то поблекла настолько, что Пьетро Аретино вскоре вряд ли разглядит ее среди других. Но нет, все-таки она была счастливее прочих, покинутых им: она еще нужна ему, пусть всего лишь как сводня, как некое связующее звено между ним и той, которую он вождедел ныне так неутомимо и страстно, как... как всех несчетных красавиц, бывших в разное время его любовницами. Каждая из них была любовью, каждая из них сияла звездой, каждая могла считать себя единственной! Иначе он не мог, Пьетро Аретино...

Цецилия вскочила и, бросив злобный взгляд на бывшего любовника, схватила со стола маленький стеклянный колокольчик.

Тотчас вслед за мелодичным треньканьем распахнулась дверь и на пороге встала монахиня в чепце и переднике, скромно перебирая четки и потупив глаза.

– Вы звали, синьора?

– Да, – высокомерно обронила Цецилия. – Проводи синьора Аретино, да не через двор, а через сад.

Монахиня кивнула и сделала приглашающий жест. После небрежного поклона посетитель покинул приемную.

У Цецилии кипели на глазах слезы, когда она привычно заталкивала под унылый чепец роскошь своих лоснящихся кудрей. Сердито отерев глаза, с ненавистью оглядела приемную. Она желала бы увидеть здесь материи самых ярких цветов – желтые, зеленые, красные, – льющиеся, как жидкий пламень, море шелка, бархата, атласа и небрежно брошенные на них перламутровые веера, веера из дорогих перьев, целые гирлянды великолепных цветов, жемчужные ожерелья и бог знает что еще, чему не сразу подберешь имени! Вместо этого...

Великолепное убранство, огромные, резного дерева шкафы, собрание редких манускриптов и инкунабул, призвано было внушать посетителю приятное чувство приобщения к многовековой мудрости. О да... у Цецилии весьма внушительная тюрьма! Впрочем, она всегда была честна с собою и даже теперь не могла не признать: если ради свободы потребуется пожертвовать честолюбивыми замыслами, она вновь и вновь выберет тюрьму. Но отчего же так болит сердце?.. Потом она вспомнила о золоте, которое щедро оставил ей Пьетро, и на душе у нее слегка потеплело.

Чтобы вовсе улучшить настроение, Цецилия решила непременно посетить сегодня ночью некую пустую келью с секретным окошечком и полюбоваться тем, что будет вершиться по воле выдумщика Пьетро. И улыбка вошла на ее уста, и случись кому-то постороннему увидеть это вдохновенное, улыбающееся лицо, он решил бы, что, несомненно, сама Мадонна, на изображение которой задумчиво смотрела Цецилия Феррари, озарила ей душу благодатью!

* * *

Вечером она наведальась в трапезную Нижнего монастыря и снисходительно раздвинула губы в улыбке, когда юные девушки наперегонки бросились к ней, норовя очутиться ближе, и коснуться тончайшего черного шелка, из которого было сшито ее платье (в отличие от их, грубошерстных), и поглазеть на золотой крест, и бриллиантовые четки, в которых кое-где были вставлены изумруды, и вдохнуть сладкий розовый аромат, который всегда окружал аббатису, будто душистое облако.

Она села, и протягивала руку для поцелуя, и вглядывалась в восхищенные девичьи лица с улыбкой, которая надежно скрывала ее мысли: «Почему глупость

юности так приманчива для мужчин?!» К сожалению, дело было вовсе не в глупости, а в свежести юности, и когда одна из воспитанниц, забывшись, позволила себе слишком громко шепнуть подружке: «У нее губы накрашены, клянусь Святой Мадонной!» – Цецилия едва сдержалась, чтобы не пожелать вслух ее тугим и алым губам навеки покрыться коростой.

Мысленно приметив востроглазую болтушку, будущему которой отныне, уж конечно, было не позавидовать, она наконец-то бросила взор на воспитательницу, судя по одежде, послушницу, ожидающую пострига, которая скромно стояла поодаль:

– Девочки слишком уж разошлись, сестра Дария.

– Да, матушка, – проронила та, не поднимая глаз и не делая никаких попыток навести порядок.

Цецилия едва заметно перевела дух.

«Матушка! Ну, я тебе это припомню!..»

– Может быть, я ошибаюсь, конечно, но, по-моему, я уже доводила до сведения сестер-воспитательниц, чтобы меня называли «ваше преосвященство»!

– Да, ма... ваше преосвященство, – покорно повторила послушница Дария, бывшая лишь ненамного старше ее воспитанниц, и от звука гневного голоса настоятельницы на лице ее выразился откровенный испуг.

Цецилия любила, когда ею восхищались, но еще больше любила, когда ее боялись. Она прекрасно знала, что и сестра Дария, и все другие считают опасным требование аббатисы назвать ее именно так: ведь «ваше преосвященство» – кардинальское звание, звание мужчины! Однако в своем монастыре Цецилия Феррари была не только кардиналом, но и богиней, и императрицей, и святой, она издавала здесь законы, она имела единоличное право казнить и миловать, и пожелай она, чтобы ее титуловали «ваше святейшество» и целовали туфлю, как папе римскому, и кто посмел бы перечить? В любое другое время она послала бы эту дуру на задний двор, с приказанием отведать от сестры Марцеллы десяток плетей, но сегодня ее ждет иное наказание. Вообще-то очень даже неплохо, что нарушительницей

оказалась именно сестра Дария, ведь иначе нужен был бы приличный предлог для перевода ее в Верхний монастырь, а теперь никакого предлога не нужно.

– Это очень дурно, сестра, что у вас такая плохая память, – сказала Цецилия вполне спокойно, однако в голосе ее звенела сталь. – Если вы сами не способны усвоить законы уважения и послушания, разве способны вы передать их младшим сестрам? А ведь кому, как не вам, следовало бы особенно стараться и давать пример прилежности и самоотречения! Вы еще ждете пострига, ждете, когда вам дадут имя небесной покровительницы. Так можете и не дожидаться. Или вам вообще желательно вновь вернуться в то положение, которое вы занимали в нашем монастыре всего лишь пять лет назад?

Девушка позволила себе быстро взглянуть на аббатису, но это была лишь мгновенная вольность, и та не успела уловить выражения этих больших серо-голубых глаз. Конечно, не может быть, чтобы они сверкнули надеждой! Ведь пять лет назад сестра Дария была просто рабыней, купленной монастырем за не очень-то большие деньги и только по счастливой случайности определенной не на чистку свинарника, а в помощь садовнице Гликерии, тоже рабыне. Что говорить, Гликерия любила девочку как родную дочь, и та любила ее как мать, но пять лет назад Гликерия умерла, и последним желанием ее было видеть свою воспитанницу среди монастырских сестер.

Случилось так, что Цецилия не могла отказать Гликерии и принуждена была дать клятву принять девочку под свою опеку, постричь ее в монахини и разрешить учиться вместе с остальными воспитанницами. В обмен на эту клятву Гликерия отказалась от предсмертной исповеди, прямым образом направив в ад свою душу, отягощенную воспоминаниями о девяти абортах, которые она в разное время делала аббатисе.

Гликерия была непревзойденной повитухой, которая пользовала весь Верхний монастырь. Она делала тесто из неких загадочных составных частей, среди которых самыми простыми были змеиные языки и кровь летучих мышей. Во время мессы сие дьявольское тесто подкладывалось под чашу и как бы освящалось (все-таки употребить его должны были служительницы Божии), а потом подмешивалось в пищу забрюхатевшим девственницам. И действовало тесто безотказно – если беременность вовремя была замечена. При более поздней стадии Гликерия преискусно орудовала вязальными иглами, и ни одна монашенка не умерла от кровотечения! До сих пор Гликерию нет-нет да и поминали с тоскою молодые монахини, которым приходилось отдавать себя во

власть грубых, невежественных повитух: тайком, с завязанными глазами, привозили их с окраин, населенных простолюдинами, чаще всего с Мурано, да еще и платили безумные деньги, чтобы обеспечить молчание...

В общем-то, справедливости ради надо сказать, что Цецилия ни разу не пожалела о своей уступчивости. Бывшая рабыня оказалась необычайно умна и прилежна, мгновенно выучилась читать и писать, в молитвах не путалась, была послушна, а в рукоделии не уступала никому: что шить, что низать бисер, что плести кружево под стать мастерицам с острова Бурано[7 - Остров в Венеции, где испокон веков жили знаменитые кружевницы, как на острове Мурано - стеклодувы.] - ко всякому делу была способна.

И нежная, расцветающая красота ее не могла не радовать глаз Цецилии, не терпящей вокруг себя никакого безобразия, хотя и ревновавшей порою к молодым, хорошеньким сестрам. Чем дальше, тем больше понимала Цецилия, почему Гликерия назвала девочку Троянда. Слово это в переводе с какого-то загадочного славянского наречия означало Роза, а ведь Гликерия была славянкою по происхождению. Она рассказывала Цецилии свою историю: о том, как была похищена турками во время набега, продана в рабство, но спустя много лет выкуплена мальтийскими рыцарями, спасавшими от мусульманской неволи христианских пленников. Однако Гликерия не обрела свободы, а лишь сменила хозяев. Впрочем, она казалась вполне довольной своей участью и никогда не вспоминала о ледяных краях, в которых, по убеждению Цецилии, находились и Московия, и Польша, и все северные варварские страны. Но Цецилия прекрасно помнила тот день, тринадцать лет назад, когда купец, синьор Орландини, только что вернувшийся из Московии, привел в монастырь полуживое, грязное существо и сказал, что эту славянку он подобрал где-то в дремучих русских лесах, ему она не нужна, и он с охотой отдаст ее в монастырские рабыни. Цецилия тогда только что приняла пост настоятельницы, и все события того достопамятного времени накрепко запали ей в память.

Что бы там ни бормотал Орландини о своем милосердии, невозможно было не заметить ужаса, с которым на него смотрела девочка. И хотя побоев на худеньком тельце не было видно, Цецилия не сомневалась, что Орландини пускал в ход кулаки. Она всегда предпочитала прямоту в деловых вопросах, а потому и спросила напрямик: «Я надеюсь, она девственна?» - и была поражена тем, как вдруг исказилось красивое, мрачное лицо Орландини.

– Не сомневайтесь, – буркнул он с отвращением. – Да я скорее кастрировал бы сам себя.

Да, подумала Цецилия, невозможно так ненавидеть кого-то, особенно ребенка, лишь за то, что нашел его в дремучем лесу. Разве что у девчонки премерзкий характер... но это ничего, Гликерия отлично умеет обламывать самых строптивых рабынь и служанок!

Впрочем, именно этого – обламывать девчонку – Гликерия как раз и не стала делать, потому что привязанность, которая сразу возникла между этой женщиной и ребенком, была сродни любви с первого взгляда. Они одного племени, снисходительно думала Цецилия, наблюдая исподтишка, как льнет Дария (таким было имя новой рабыни) к старой садовнице и как играет улыбкою хмурое, морщинистое лицо Гликерии. В ее заботливых руках девчонка мгновенно расцвела и действительно напоминала розу своим ярким, бело-розовым лицом, свежими губами – всем тем ощущением юной прелести, которым так и дышало все ее существо. Хотя красивой, конечно, назвать ее было трудно, и сейчас, глядя в эти слишком широко расставленные глаза, на эти слишком круто изогнутые брови, на вздернутый нос, Цецилия злорадно подумала, что монашеский чепец откровенно уродует Дарию. Как жаль, как бесконечно жаль, что Аретино увидел Троянду в то редкое мгновение, когда она была без чепца, и волосы ее, заплетенные в косу, открывали высокий лоб, и не искажалась прелестная линия скул, и нежный рот не был сжат скорбно и туго... Проще говоря, Аретино увидел Троянду в купальне. До этого там побывало уже с десяток сестер из Нижнего монастыря, и Аретино вдоволь насладился созерцанием юных и не очень юных, стройных и уже обрюзглых нагих женских тел. Мозаичная стена купальни, изображавшая целомудренное умывание Мадонны, была кое-где инкрустирована стеклянными вставками. Со стороны купальни они были непроницаемы, а вот с другой стороны, из-за стены, открывали нескромному взору все подробности монашеских омовений.

Цецилия была тогда рядом с Пьетро – разумеется, как иначе без ее содействия он мог попасть в сии тайные покои! Она сама его туда привела, наивно понадеявшись, что созерцание голых красоток возбудит его угасшие чувства. Однако пылающий взор Аретино был устремлен не на нее!

Цецилия глянула в запотевшее стекло...

Округлый изгиб бедер, узкие плечи, мягкая линия талии – все это напоминало своими очертаниями изящную греческую амфору. Высокая грудь прелестно просвечивала сквозь мокрые светлые пряди, которые касались тела девушки, словно растопыренные пальцы нетерпеливого любовника.

– Как тебя зовут? – послышался шепот.

Цецилия оглянулась.

Глаза Пьетро закрыты, лицо счастливое, спокойное.

– Как тебя зовут? – снова шепнул он пересохшими губами.

Цецилия обхватила плечи ладонями: вдруг стало зябко. Не ее имя спрашивал Пьетро – он знал его отлично!

– Троянда, – шепнула Цецилия. – Троянда... – и тут же пожалела о сказанном.

Одному Господу ведомо, почему она назвала это имя – слишком пышное и роскошное для еще не распустившегося бутона! Следовало бы сказать правду, назвать ее Дарией – и уж позлорадствовать, какое впечатление это произведет на Пьетро, чувствительного к звукам и их слиянию столь же, сколь к сплетению человеческих тел.

– Троянда... – жарко выдохнул Пьетро. – Троянда! – Он открыл глаза, привстал: – Я хочу эту. Хочу, ты слышишь?

Тон его не оставлял сомнений: Аретино ни перед чем не остановится, чтобы получить желаемое! Да и не так глупа была Цецилия, чтобы возмущаться. Аретино не тот человек, с которым можно спорить. Он дружен с нынешним папой; дож Венеции Андреа Гритти считает честью приглашать его в свой дом и ежемесячно присылать ему сундучок с дукатами, каждый раз увеличивая сумму.

Аретино пришло однажды в голову заказать медаль: на одной стороне был его портрет, а на другой он же изображался сидящим на троне в длинной императорской мантии, перед ним стояла толпа владетель-государей, приносящая ему дар. Кругом надпись: «I principi, tributadi dai popoli, il servo loro

tributano!»[8 - Государи, собирающие дань с народов, приносят дань своему рабу (лат.).] Злейшие враги Аретино называли его tagliaborsa dei principî[9 - Грабитель кошельков у государей (лат.).].

По одному мановению Аретино молчаливые bravi[10 - Головорезы, разбойники (итал.).] проникнут ночью в любой палаццо и... нет, не убьют хозяина, однако такого понаделают, что вспоминать об этом не захочет ни сам хозяин, ни тем более его жена и дочь... хотя, возможно, они-то как раз и вспомнят случившееся с удовольствием!

Но еще надежнее, чем bravi, служили Аретино его острый ум, острый язык и талантливое перо. Его сонетов-эпиграмм боялись самые могущественные люди! Цецилия знавала тех, кто говаривал, осеняя себя крестным знамением: «Dio ne guardi ciascun dalla sua lingua!»[11 - Храни Бог всякого от языка его! (итал.)]

Да, Аретино был баловнем Венеции, он был всемогущ, однако даже не в том дело, что Цецилия боялась его возможной мести. Еще больше она боялась его потерять! Начни она спорить – и его внезапная страсть к Троянде костром разгорится. Понятно – запретный плод сладок. Поэтому, неприметно переведя дыхание, чтобы избавиться от резкой боли в сердце, Цецилия произнесла – и только легкая хрипотца в голосе выдавала ее волнение и тоску:

– Ты получишь все, что хочешь, Пьетро. Сам знаешь – я не смогу тебе отказать. Но... ради Святой Мадонны – скажи, что ты в ней нашел?!

Пьетро медленно усмехнулся, взглянув на Цецилию. Ну конечно, от него-то не укрылась ревность, раздирающая ей душу. От него ничего не укроется! Вот ведь высмотрел розу среди полыни!

– Что нашел? – все так же дразняще усмехаясь, Аретино вновь взглянул в потайное окно, а потом заслонил глаза ладонью, как бы не в силах глядеть на солнце, и проговорил:

– Ты посмотри! Нет, ты только посмотри!

Цецилия снова припала к окну.

Дария сидела на мраморной скамье, откинувшись на спинку, и лениво плескала из кувшина воду себе на ноги. Ладонь еле двигалась; медленно, как во сне, падала вода с худых девичьих пальцев. Тонкие колени были вяло разведены, другая рука повисла вдоль тела. Если бы не размеренные всплески, можно было бы подумать, будто девушка спит. Было что-то обреченно-покорное во всей ее позе, в склоненной голове. Чудилось, это олицетворение ленивой неги, терпеливого блаженства.

Цецилия невольно зевнула, такая власть расслабленности исходила от этой картины. Пожалуй, подойди сейчас к Дарии мужчина, она и не шелохнется, пребывая все в том же состоянии полузабытья, несокрушимой покорности...

«Так вот в чем дело!» – вдруг осенило Цецилию.

Этим свойством она никогда не обладала, так же, как и терпением. О боже, да неужели именно это мечтает найти в женщине Аретино?

К изумлению Цецилии, Пьетро не кинулся в купальню тотчас же и не подмял под себя дремлющую девицу. Может быть, понял, что в этом случае не миновать скандала, да еще какого! Или уже тогда созрел в его уме лукавый замысел, который теперь начала приводить в исполнение Цецилия, ледяным голосом приказав сестре-воспитательнице Дарии тотчас после трапезы явиться в Верхний монастырь и доложить сестре-экономке, что в наказание она, сестра Дария, должна провести ночь в келье искушений?

...Дария побледнела, бросилась было к аббатисе и едва удержалась, чтобы не молить ее о милости и снисхождении. Та уже двинулась по трапезной, глядя, как девочки вкушают пищу, и никто, ни один человек в мире не знал, что она сейчас едва удерживается, чтобы не молить эту дуру поменяться с ней судьбою... на нынешнюю ночь!

Глава II

Искушение святой Дарии

– Мать Цецилия! О Господи, о Святая Мадонна! Ваше преосвященство, да проснитесь же!

Цецилия открыла глаза. Пухлощекое лицо сестры-экономки расплывалось в предрассветном полумраке и казалось еще толще.

– Что, пожар? – сердито пробормотала Цецилия, успев, впрочем, порадоваться, что и при пожаре ее не забывают титуловать как следует. – Что произошло?

Сестра-экономка приоткрыла рот, но не смогла издать ни звука. Белесые глаза ее вдруг задрожали и как бы вытекли на щеки, и Цецилия с изумлением поняла, что злобедная сестра Катарина, последний оплот истинно монастырского начала в Верхнем монастыре, плачет! И Цецилии показалось, что она содрогнувшимся сердцем прозрела ответ за мгновение до того, как сестра Катарина наконец-то смогла выдать из себя ужасные слова:

– Сестра Дария... повесилась!

Цецилия мгновение глядела в плачущее лицо незрячими, остановившимися глазами, и не сразу до нее дошел смысл фразы, а еще – открытие, что за окном разгорается рассвет, и, значит, она проспала у себя в покоях (язык не поворачивался назвать их кельею!) всю ночь обольщения Троянды.

О черт, черт, черт! Ведь собиралась же понаблюдать за влюбленным Аретино!.. Однако так препаршиво было на душе вчера вечером, стоило только вообразить, какую картину ей придется увидеть, так скручивала сердце ревность, что Цецилия достала заветную *fiasca*[12 - Бутыль для вина, оплетенная соломкою (итал.).] с фриульским вином, выпила бокал, потом еще, потом, кажется, еще и еще... и сон сморил ее. Она даже забыла смешивать вино с водой, как положено даме, если она не хочет прослыть дикаркой. То-то голова сейчас так и идет кругом! Схватив кувшин, в котором всегда было налито разбавленное вино, Цецилия жадно глотнула, не заботясь, что розовые струйки льются на грудь, пятная белую кружевную сорочку.

Впрочем, сестра Катарина рыдала и ничего вокруг себя не видела, а у Цецилии достаточно прояснилось в голове, чтобы суметь наконец встать и накинуть платье. Она подхватила под руку сестру Катарину и толкнула дверь, ожидая увидеть коридор, заполненный перепуганными сестрами, однако вокруг было

пусто.

– Кто-нибудь еще знает? – с тревогой прошептала она, и сестра Катарина так усердно затрясла головой, что брызги слез полетели во все стороны:

– Нет! Я сразу к вам... Я шла в кладовую, смотрю – келья сестры Дарии отворена. Заглянула – а она лежит на полу, на шее петля...

«Лежит? – изумилась было Цецилия. – Висит, наверное?» – но тут сестра Катарина вся сморщилась, намереваясь разразиться новыми рыданиями, и Цецилии пришлось ногтями вцепиться в ее пухлую руку, чтобы заставить молчать.

Хвала Мадонне, если все спят, дело можно уладить без шума. Вынести несчастную грешницу в сад... там много укромных уголков! В Нижнем монастыре знают, что Дарию перевели в Верхний. А здесь о ее присутствии не знал никто, кроме Катарины и самой Цецилии. Ее долго не хватятся, может быть, никогда... И слава богу, потому что самоубийство монахини вызовет немедленный скандал, не миновать комиссии из Ватикана, не говоря уже о Совете десяти[13 - Верховный правительственный орган Венецианской республики в описываемое время.], который тут же пришлет в монастырь своих досмотрщиков, и даже связи Цецилии (в смысле, любовные связи с тремя дожами из этой десятки!) окажутся бессильны. Нет, конечно, похороны безумицы должны быть проведены в строжайшей тайне. Быстрый ум аббатисы мгновенно нарисовал эту картину. Которая, впрочем, тут же разлетелась вдребезги при одном только имени, мелькнувшем в памяти Цецилии.

Аретино! Сегодня ночью с Дарией был Аретино! Ох... ох, Боже преблагий, что скажет Аретино?..

Ноги у Цецилии подкосились, и сестра Катарина едва успела подхватить аббатису, иначе та грохнулась бы на пол. Так, чуть влачась, они дрожащими руками толкнули дверь в роковую келью и, поддерживая друг дружку, вошли в это обиталище смерти.

Сестра Катарина тут же, у входа, рухнула на колени и принялась молиться за грешную душу таким громким шепотом, что Цецилия принуждена была

погрозить ей. Теперь губы Катарини двигались беззвучно, и ничто не мешало Цецилии смотреть и думать.

Приступ слабости прошел так же мгновенно, как и пришел, оставив по себе только холодный пот на лбу да подрагивающие руки, но ясность мысли вернулась.

Дария и впрямь лежала на полу, безвольно раскинувшись и запрокинув голову, от которой змеился обрывок веревки. Другой свешивался с потолка, и Цецилия поняла, что веревка оказалась ветхой, не выдержала тяжести тела. Интересно бы знать, как долго провисела Дария? Успел ли добиться от нее Аретино того, чего хотел, или... Ведь эта дурочка, испугавшись наказания, которое сулил ей голос и взгляд аббатисы, могла наложить на себя руки, лишь бы избежать неведомой кары! И тогда Пьетро, явившись на любовное свидание, нашел в келье труп!

Наверняка он подумал, что и это – происки обезумевшей от ревности Цецилии!.. От этой мысли ноги ее снова подкосились, а страх властно завладел всем существом.

И лицо сестры Катарини, оказавшееся в поле ее зрения, отнюдь не способствовало душевному успокоению, ибо рот этой достойной особы перестал шептать молитвы и был широко разинут, а глаза вытаращились так, что Цецилии почудилось, будто они вот-вот вывалятся из орбит. Чудилось, вот-вот сестра-экономка издаст вопль громче зова трубы Иерихонской, и Цецилия сделала движение заткнуть ей рот, да не успела: Катарина повалилась на бок в глубоком обмороке. Тут Цецилия догадалась обернуться поглядеть, что же повергло Катарину в такое потрясение, – и... и она сама едва не рухнула рядом с сестрой-экономкой при виде того, как труп Дарии медленно приподнимается и, ослабляя петлю на шее, хрипло шепчет:

– О, Христа ради, ради Пресвятой Мадонны, простите меня, матушка!

Опять матушка? О господи, эту дуру не смогла исправить даже смерть!

* * *

Ну, разумеется, никакой смерти не было. Веревка оборвалась сразу, как только Дария повисла, она еще успела понять, что самоубийство ее не удалось, а потом лишилась чувств, больно ударившись об пол. Однако, хоть первыми словами ее были слова прощения, никакого раскаяния не увидела Цецилия в глубине глаз Дарии, а только отчаяние, что рухнул ее греховный замысел.

Цецилия окинула взглядом келью, и от нее, конечно, не укрылась взбитая, взбаламученная постель... Топчан – а он тяжеленький! – даже от стены отъехал. «Что они тут делали?» – ревниво дрогнуло сердце, а бурые пятна на простыне подтвердили: делали-таки! Значит, Аретино получил свое... ну и что, потеря девственности так огорчила эту дурочку?! Сие было непостигаемо умом Цецилии, которая времен своей невинности и припомнить-то не могла. Пожалуй, она просто сменила кукол на любовников еще в самом нежном возрасте, только и всего! Однако она усвоила, что жизнь велит считаться с предрассудками, а потому кое-как, с помощью легких пощечин, привела сестру Катарину в сознание и вытолкала ее за дверь с наказом молчать до могилы о том, что здесь происходило.

Сестра Катарина уползла. В Нижнем монастыре уже звонил утренний колокол. Через полчаса поднимутся и обитательницы Верхнего монастыря. Теплые солнечные лучи нарисовали узорную, сияющую решетку на серой стене кельи, и в растрепанных волосах Дарии зажглись золотые искры.

Цецилия нахмурилась. Конечно, следовало говорить о смертном грехе и загубленной душе, но ее куда больше интересовало тело Дарии, а потому она спросила прямо:

– Что было здесь этой ночью?

Дария оглянулась на свой покосившийся топчан – и дрожь прошла по ее телу, судорога отвращения исказила лицо. Цецилия, наверное, расхохоталась бы злорадно – видел бы сие самодовольный Аретино! – но слова Дарии заставили ее надолго поперхнуться смешком:

– Сегодня ночью мною владел дьявол!

– ...С вечера меня неодолимо клонило в сон, – рассказывала сестра Дария чуть погодя, с тревогой глядя на аббатису, которая все еще мелко покашливала. Только что Дария руки оббила о ее спину, потому что Цецилия, поперхнувшись, едва не задохнулась. – Еще и солнце не село, а у меня уже ни на что не было сил. Не помню, как я легла и провалилась в сон. Нет, это была дрема, такая тяжелая дрема, что мне все время чудилось, будто я лежу на дне реки, а тело мое заплыло песком. Я знала, что нужно помолиться – и все пройдет, но не могла вспомнить ни одной молитвы! Я засыпала, просыпалась, вновь засыпала... Мне чудилось, я жду чего-то, и тело мое горело. Я металась...

Цецилия слегка кивнула. Чего же ожидать, если в питье Дарии был подмешан любовный ладан, изготовленный из мускуса, сока древовидного алоэ, красного кораллового порошка, настойки серой амбры и розовых лепестков, смешанных с несколькими каплями крови попугая и высушенным мозгом воробья!

– Я ждала чего-то пугающего, – бормотала Дария, расширенными глазами глядя в стену, словно там запечатлелись ночные картины, – и дождалась! Было темно, темно... и вдруг луна взошла в моем окне, и в ее свете я увидела высокую фигуру, окутанную плащом с головы до пят, так, что я не различала ни лица, ни очертаний явившегося мне существа. Я чувствовала только запах серы и понимала, что оказалась во власти дьявольских чар.

– Ты молилась? – сухо поинтересовалась Цецилия, незаметно принохиваясь.

А ведь в самом деле – запах серы еще витает в воздухе! Ну, Пьетро... он не может без сценических эффектов! И она ничуть не удивится, если и луна была в сговоре с Аретино и взошла в самый нужный миг, чтобы придать его появлению потрясающую выразительность.

– В лунном свете его плащ казался седым, но вскоре я поняла, что он багряный, как лепестки роз, озаренные закатным солнцем, – проговорила Дария. – В этом цвете было что-то пагубное! Искушающее! Существо приблизилось, распахнуло плащ и... дьявольские козни завладели мною!

Тут Дария принялась рыдать, запинаться в словах, но все же Цецилии удалось понять, что «дьявольские козни» продолжались целую ночь, и «дьявол» делал со своей жертвой что хотел и как хотел, причиняя ей мучительную боль.

Цецилия кивнула со знанием дела. Да, бывают женщины, которым первый любовный опыт не доставляет никакого удовольствия, хотя потом они становятся истинными вакханками. Мужчина должен на время оставить их, Аретино же оказался слишком нетерпелив, слишком буен... И Дария понравилась ему, иначе разве сказал бы он, собравшись наконец уходить:

– Я еще приду к тебе, любовь моя! Завтра ночью жди!

Дарии казалось, что рассвет наступил почти сразу, как дьявол провалился в свою преисподнюю. Все тело у нее разламывалось от боли, но она все же нашла в себе силы подтащить табурет под крюк, на котором висела масляная лампа, снять эту лампу, а через крюк перекинуть веревку, почему-то валявшуюся под топчаном. В тот миг в ней Дария видела дар Бога, но теперь оказалось, что это нечистый вновь смеялся над ней! Надо было простыню свить на жгуты, уж прочнее вышло бы. Веревка-то порвалась!

– Нет, это Бог спас тебя, – сурово возразила Цецилия. – Ты хотела совершить грех, а он простер свою благодетельную десницу, и...

– Ну так он сделал это совершенно напрасно! – перебила Дария, и Цецилия с изумлением уловила нотки неуместной строптивости в ее голосе, еще хриплом от слез. – Я все равно убью себя! Я никогда не забуду того, что произошло! Да вот же... он оставил на память! Это было у него на ноге, под левым коленом... я помню!

Она брезгливо ткнула в странный лоскут, валявшийся на полу. Цецилия подняла его и поджала губы, чтобы не рассмеяться.

Это была так называемая колдовская подвязка. Люди, промышляющие ведьмовством и колдовством, носят их непременно под левым коленом на своих колдовских церемониях и во время насылания чар. Женские подвязки обыкновенно бархатные или шелковые, с позолоченными или серебряными застежками. Эта, из змеиной кожи с голубым шелком изнутри, принадлежала какому-то колдуну, прежде чем попала к Аретино. На лицевой стороне вышито какое-то слово. Цецилия взгляделась.

Daedalus... Дедал? Колдовское имя обладателя этой подвязки – Дедал? Забавно. Она вполне могла принадлежать и самому Аретино, если учесть, что он –

художник, поэт и рожден под знаком Тельца. Ведь мастер Дедал, сотворивший крылья для полета в небесах, был колдуном и некогда построил на Крите знаменитый лабиринт для Миноса, жреца Критского культа быка-Посейдона. Дедал – Бык – Телец – Аретино... Именно по таким отдаленным внешне, но внутренне четко связанным знакам выбирают себе колдовское имя ведьмы и колдуны. О, как интересно! Значит, Аретино не чужд черной магии? Жаль, что Цецилия не знала об этом раньше... они могли бы устраивать чудные шабаши вместе... Только вдвоем!

Она погладила мягко шелестящую кожу подвязки. Зачем Пьетро оставил это? Забыл? Едва ли. Аретино никогда ничего не забывает и не делает просто так. Здесь есть какой-то смысл!

– Убьешь себя? – повторила Цецилия задумчиво. – Но ведь это смертельный грех. Тебя заруют за кладбищенской оградой, а душа твоя прямиком пойдет в ад.

– Да неужели вы думаете, что моя душа достойна рая после того, как мною обладал инкуб[14 - Инкуб – мужской образ, который принимает дьявол или его подручные для искушения святых или монахинь. Мужчинам являются суккубы – дьяволицы в образе обольстительных красавиц.]?

– Ну так что ж, – пожала плечами Цецилия. – Святому Антонию тоже являлись суккубы, а он смотрит на нас с высот райских.

– Но ведь он устоял перед обольщениями прекрасных дьяволиц, – запальчиво возразила Дария, и Цецилия лукаво глянула на нее исподлобья:

– Да... если судить по его рассказам. Но ведь никто не знает, что там происходило на самом-то деле. Возможно, Антоний и повалялся в постели с красоткой-суккубой, а потом вдруг спохватился, раскаялся – и ну охаживать ее хлыстом, да и себя заодно. И вообще, может быть, дело в том, что он не получил от нее такого удовольствия, которого ожидал!..

Увидев, как медленно приоткрывается рот Дарии, Цецилия спохватилась – и захлопнула свой.

Ну и разболталась же она, спаси Господи ее душу грешную!

– Удовольствия?.. – тупо переспросила Дария. – Разве кто-то получает от этого удовольствие?!

«О да, да! Еще какое! – едва не закричала Цецилия. – И если бы ты не была нынче ночью пугливой, сонной дурой, ты бы не вешаться утром кинулась, а богов благодарила бы за то, что великолепнейший из всех созданий человеческих удостоил тебя своими ласками!»

Разумеется, она ничего подобного не сказала, а только проронила, поджимая губы, как если бы речь шла не о занятии, кое Цецилия обожала больше всего на свете, а о... ну, скажем, о мытье посуды после трапезы:

– Соитие назначено Господом нашим, Создателем и Вседержителем для продолжения рода человеческого, однако наш Творец, в неизреченной милости своей, сподобил человека при сем величайшем акте испытывать наслаждение, равного которому нет ничего. Ни-че-го!

Дария смотрела недоверчиво. Потом шепнула, отводя глаза:

– Простите, матушка... то есть, ох, боже мой... простите, ваше преосвященство, но как можно верить на слово? Может быть, сие не более чем распутные измышления тех, кто завидует нашей святой жизни и обетам нашим?

– Вот, кстати, о наших обетах, – хриплым от зависти голосом проговорила Цецилия. – Что жертвуем мы Господу, когда посвящаем себя ему? Какие даем обеты?

– Ну... смирения, послушания... бедности, воздержания...

– Да, да, да! – закивала Цецилия. – Мы жертвуем Господу свою гордость для смирения, свой ум, свои мысли – для послушания, свою красоту – для бедности. Я женщина, я понимаю, как это трудно... как трудно!

– Да, – робко кивнула Дария. – Да... мне тоже иногда хочется носить жемчуг. О, это так прекрасно! Будь у меня деньги, я заказала бы себе жемчужные четки!

Лицо ее вспыхнуло румянцем, но тут же погасло. Цецилия усмехнулась:

– Жемчуг! Да, и жемчуг, и алмазы, и кружево, и бархат, мягкий, как лепестки роз, и сами эти розы, и сладкое вино, и жирное, хорошо поджаренное мясо, и каплуны, и... и...

Она едва не захлебнулась слюной и сочла за благо прекратить перечисление любимых блюд. Надо скорее позавтракать. А какие мечтательные глаза сделались у Дарии! Бедняжка! У Цецилии на ужин была жирненькая перепелочка с оливками и маринованным луком, а девочка ела сухой хлеб и сухой сыр в Нижнем монастыре. Потом ночь с Аретино... понятно, что она сейчас душу готова продать за жареную пороссячью ножку!

– Что жемчуг! Жених наш небесный хочет от своих невест самого богатого приданого – девственности. Вечного уныния плоти! Уж поверь – он забирает у нас, требуя воздержания, такую радость, что и жемчуг, и кружево, и вкусная еда – ничто по сравнению с этим.

– Вы так говорите... – испуганно шепнула Дария, – вы так говорите, как будто сами однажды... однажды испытали грех!

– Однажды? – недоуменно спросила Цецилия. – Почему?.. – Она благоразумно ухватила продолжение на самом кончике языка и сказала просто: – Я знаю, о чем говорю. Поверь. И слово «грех» тут совершенно неуместно, если женщине приходится выбирать между смертью или мужчиной. Поверь, на весах небесных любоддеяние – сущая ерунда по сравнению с самоубийством!

– О господи... – прошептала Дария, и глаза ее, чудилось, сделались еще больше, засияли еще ярче от нахлынувших слез. – Ох, какая вы добрая, ма... то есть, я хочу сказать, ваше преосвященство! Я всегда думала, что вы меня недолюбливаете, что вам все равно, есть я на свете или нет, а вы... вы...

Она принялась вытирать слезы, что оказалось очень кстати, ибо дало Цецилии время справиться со своим лицом.

Однако! Однако в приметливости девчонке не откажешь. Похоже, она не такая уж простушка, не такая дура... нет, все же дура, дура, если считает Цецилию доброй. Быть доброй к своей сопернице?! Да Цецилия своими руками надела бы Дарии петлю на шею, причем выбранная ею веревка не порвалась бы под весом и пяти таких идиоток! Эх, если бы Дарии удался ее замысел... если бы чертову

Катарину не принес дьявол... как все удачно складывалось бы! А теперь – теперь игра проиграна. Даже если начать сокрушаться вместе с Дарией о смертном грехе, загубленной душе и адском пламени, даже если подтолкнуть ее к новой, более тщательной попытке... напрасно. Аретино узнает об этом, как он узнает всегда, все, обо всем (чудится, нет ничего на свете, что могло быть от него скрыто!) – и не простит Цецилии. Девчонка ему понравилась, ясно же! Он сказал, что вернется. И подвязку бросил в знак...

Цецилия почувствовала, как волосы у нее медленно поднимаются дыбом. Не намекнул ли Аретино, что знает доподлинно: у Цецилии тоже есть такая подвязка! Она сделана из голубого бархата, и подбита голубым шелком, и скреплена золотой застежкой, и украшена крошечными золотыми колокольчиками, которые издают очаровательно-таинственный перезвон, когда, набросив свою фиолетовую накидку и распустив волосы, Цецилия берет магический кубок и открывает книгу заклинаний, бормоча «формулу отречения»:

– Нима! Огавакул то сан ивабзи, он еинешукси ов сан идевв ен и...[15 - «Формула отречения» ведьмы, означающая, что она предается дьяволу, состоит в чтении молитвы «Отче наш» наоборот: с последней буквы последнего слова.]

О боже!.. Цецилия была так вышколена годами притворства, что даже сейчас, как ни была взволнована, помянула имя Господа, а не Рогатого, хотя лишь ему поклонялась в сердце своем. О боже, так, значит, Цецилия находится в руках Аретино еще больше, чем ей казалось? И хотя она никогда не насылала проклятия, не чертила квадрат Марса, не заклинала Перевернутую Пентаграмму, не прибегала к насыланию восьми, вызыванию ненастной погоды и, уж конечно, Великого колдовства, хотя она владела и пользовалась только любовной магией на самом грубом уровне, – она знала: никто не станет вникать в такие мелочи. Ведьма – она ведьма и есть. Развратницу-аббатису ждет позор, аббатису-ведьму – костер!

Цецилия слабо взмахнула ладонью у лица, словно отгоняя жар. Да, Аретино вовремя напомнил о себе. Он хочет Дарию – он ее получит. Лучше это, чем огонь костра!

– Ваше преосвященство, что с вами?

Дрожащий голос привел ее в чувство. Цецилия устремила невидящий взор на лицо Дарии и растянула губы в улыбке.

- Так ты говоришь, убить себя?.. - промолвила она задумчиво. - Ну что ж, если ты не можешь жить оскверненной, пожалуй, и впрямь лучше умереть.

- Д-да? - с запинкой выговорила Дария. - Но это же... как же... грех?

Ага, полдела уже сделано! Она уже не мечтает о смерти так самозабвенно! Похоже, Цецилии достался весьма податливый материал.

- Грех можно замолить, - усмехнулась она. - Конечно, если останешься жива.

- Но ведь ночью... - нерешительно шепнула Дария, с ужасом оглядываясь на свой вздыбленный топчан.

- Ночью что? - жестко переспросила Цецилия, которой уже до смерти надоела навязанная ей Аретино роль покорной сводни. - Представь, что тебе все это лишь приснилось, тебя мучил кошмар.

- Кошмар? - ахнула Дария. - Конечно, что может быть кошмарнее того, что мою невинность взял дьявол? Как можно замолить это?!

- Да забудь ты об этом! - не сдержавшись, рявкнула Цецилия. - Забудь! Если бы тебя изнасиловал смертный развратник, ты что, тоже в петлю бы полезла? Ничего подобного. Стерла бы коленки в молельне, вот и все!

Она не договорила, с интересом наблюдая, как Дария зажмурилась, видимо, изо всех сил стараясь это представить, но тут слезы снова брызнули из-под ресниц, и она прорыдала:

- Не могу! Не могу такого представить! Ведь вы сказали, что с мужчиной я бы получила удовольствие, мне было бы хоть что вспомнить хорошее, а тут... - И она с отвращением передернула плечами.

- Ну-у, если дело только в этом... - протянула Цецилия задумчиво, словно с трудом искала ответа, в то время как уже ясно видела, что делать, что говорить,

и нужные слова неслись наперегонки. – Надо сделать так, чтобы тебя взял смертный мужчина. Тогда будет считаться, что он разрушил твою девственность, а инкуб и впрямь являлся во сне.

– Будет считаться? – недоверчиво переспросила Дария. – А кем?

– Да нами с тобой, – пожала плечами Цецилия.

Дария нахмурилась, обдумывая сказанное своей мудрой наставницей.

– И что, для этого годится любой мужчина? – спросила она осторожно.

– Ну уж нет! – оскорбленно фыркнула Цецилия. – Это должен быть особенный мужчина, знающий толк в любви.

– А где найти такого мужчину? – деловито спросила Дария, и Цецилия мрачно усмехнулась:

– Предположим, я смогу тебе помочь. У меня есть один знакомый. Он настоящий патриций, из тех, кто вписан в *libro d'oro*, Золотую книгу, человек почтенный...

– Почтенный? – перебила Дария с едва уловимой ноткой разочарования в голосе. – Но... разве для сего непременно нужны почтенные лета и знатное происхождение?

– Тебе что, баркайоло[16 - Так в Венеции называют гондольеров.] сюда привести? – сухо осведомилась Цецилия. – Человеку, о котором идет речь, слегка за сорок. Самый раз!

Ей очень хотелось добавить, что за свое патрицианство Аретино заплатил двести или триста дукатов, так что о его знатном происхождении можно говорить только со скрытой усмешкой. Другое дело, что сын сапожника из Ареццо живет так, как не каждый *principe*[17 - Князь (итал.).] может себе позволить! Но она не стала вдаваться в подробности, а только уточнила:

– Так ты согласна?

– Да что же мне делать? – воздела руки молодая монашка. – Этот грех можно хотя бы замолить! Страшно только, что я совершаю сие по доброй воле, сознательно нарушая обеты, которые принесла Господу!

– Ну, моя милая, – пожала плечами Цецилия. – Господу нашему, Иисусу Сладчайшему, столько приносят обетов, что он и счет им потерял, наверное. Где ему разглядеть, какой нарушен, а какой нет!

Дария подумала-подумала – и кивнула. А ведь и в самом деле! У Бога столько дел, столько людей требуют его присмотра! Может быть, ей повезет, и Господь в нужную минутку как раз обратит свой взор на какую-нибудь другую грешницу?..

Глава III

Совращение святой Дарии

Кое-как уgomонив Дарию приказом лечь поспать (нет, разумеется, в другой келье, в другой постели, как же иначе!), Цецилия стремглав убежала к себе и дала волю ревнивым слезам. Мало того, что Аретино бросил ее ради этой безобразной простушки, так она еще и должна была устраивать их новые встречи! Больше всего ей хотелось сейчас плюнуть на Дарию, на Аретино, на все другие дела, которые требовали ее необходимого вмешательства, но слишком многое могло рухнуть, посмей она не угодить Аретино, а потому Цецилия собралась с силами и открыла свой секретер, где лежали перья и бумага. С нарочным в палаццо на Canal Grande[18 - Канал Гранде, Большой канал (итал.) – самая известная протока в Венеции между островами, на которых расположен город.] было отправлено послание. Тотчас пришел ответ. Цецилия, прочитав и подумав, написала снова. Пьетро – тоже. Словом, до времени «Ave Maria»[19 - Час вечерней молитвы в католических монастырях.] Цецилия только и делала, что получала и отправляла письма, и к урочному часу дурное настроение ее достигло своей вершины.

Вдобавок Пьетро Аретино велел Цецилии самолично доставить ему добычу! Он обещал щедрую награду, но для Цецилии самой высокой ценой было его молчание.

Гондола не причалила к парадной лестнице, роскошными террасами вырастающей прямо из зеленоватой воды Canal Grande, а обогнула дворец Аретино справа, юркнула в какой-то canaletto[20 - Маленький канал (итал.)] и остановилась у скользких гранитных ступенек.

Их уже ждали. Высокий прилизанный молодой человек в черном бархатном камзоле подал руки дамам с видом беспечным и наглым и помог выйти из гондолы. Для маскировки они обе были облачены в глухие черные плащи с капюшонами. Цецилия перехватила испуганно-любопытный взгляд Дарии, брошенный на встречающего, и с трудом подавила улыбку: вот смеху было бы, когда б Дария решила, что это – ее грядущий обладатель, и почувствовала к нему влечение! Луиджи Веньер был всего лишь учеником и секретарем Аретино – ну, доверенным лицом, облеченным особыми тайнами, конечно, – однако ему-то Аретино мог спокойно доверить любую из своих любовниц, а то и всех, вместе взятых: Луиджи весьма прохладно относился к женщинам, предпочитая мужчин. Но он всегда старался держаться как галантный кавалер и, распуская слухи о своих невероятных любовных приключениях, не жалел денег для женщин, которые во всеуслышание подтверждали эти слухи.

Еще бы! Содомия наказывалась смертью! Цецилия помнила, как несколько лет назад патриций Бернардино Корреро и священник Франсуа Фабрицио были за это обезглавлены на Piazzetta[21 - Piazza и Piazzetta (букв. площадь и площадка (итал.) – главные площади Венеции.), и тела их потом сожгли, но подражатели им тотчас нашлись. Содомитов подвергали даже особой казни, заключающейся в том, что виновного сажали в деревянную сквозную клетку и заставляли ее висеть на страшной высоте от земли. Любитель наслаждения становился объектом всеобщих оскорблений, терпел жару, холод, дождь, ветер... Патриций Франческо де Сан-Поло попробовал убежать, сломав стены своей клетки, но разбился насмерть. После этого мнения в Совете десяти разделились. Некоторые требовали немедленной казни для содомитов, некоторые уверяли, что народу необходимо еще и зрелище позора. Специальный суд против содомитов собирали каждую пятницу, и результаты его становились общим достижением. Каждые три месяца избирали двух людей благородного происхождения, которые должны были постоянно носить оружие, чтобы на всяком месте убивать содомитов, где бы их ни встретили. Однако Луиджи Веньер по-прежнему жив...

Наверное, с усмешкой подумала Цецилия, он обставляет свои тайные свидания не меньшей таинственностью, чем сатанисты – свои черные мессы. А вот любопытно: колдовская подвязка, брошенная Аретино, – просто безделица,

забава или верный знак того, что Аретино присутствовал на черной мессе или даже шабаше? Цецилия не сомневалась: он мог! Он был жаден до еды, питья, женщин, ненасытен до всяких развлечений, которых только мог сыскать в жизни. Не исключено, совсем не исключено, что Аретино иногда забавляется с Луиджи. Не этим ли объясняется та рабская преданность, которую испытывает секретарь к своему хозяину? Однако бесспорно, что такое воплощение мужественности и жизненной силы, как Пьетро Аретино, предпочитает, конечно, женщин... и вот новую одалиску ведут к своему султану Луиджи и Цецилия, отвергнутые любовники! От Цецилии не укрылся пренебрежительный взгляд, которым Луиджи окинул съезжившуюся, перепуганную Дарию. Секретарь и Цецилия обменялись понимающими взглядами. Оба думали об одном и том же: отставка их временная, долго не продлится!

Луиджи провел дам через мощеный дворик; потом они поднялись во второй этаж и оказались в очаровательной комнате, завешенной розовым и пурпурным бархатом и похожей на раковину, в которую заглянул луч заходящего солнца. Солнце и впрямь уже садилось, и его теплые лучи позолотили мягкие бархатные складки. Кругом на мраморных столах стояли вазы из Мурано, полные розовых, красных и желтых роз. Цецилия знала, что Аретино поддерживает муранских стеклоделов, ему принадлежат одна или две фабрики, он не стесняется беззастенчиво расхваливать их продукцию в письмах к своим многочисленным покровителям и высылать им хрупкие подарки, и сейчас она подумала, что Аретино, с его бесовским чутьем, пожалуй, не ошибся и теперь, как он не ошибается никогда. Эти вазы были прекрасны... и прекрасны цветы, аромат которых был напоен нежностью и затаенным сладострастием – как и вся эта комната, украшенная так изысканно и просто, что Цецилии захотелось прилечь на один из турецких диванов, обтянутых золотистым, в розовых розах, шелком, и долго, долго смотреть на картину в тяжелой золотой раме: золотисто-розовый закат, розовое тело нагой золотоволосой женщины, раскинувшейся на багряном шелке и небрежным движением изящной кисти отстраняющей шаловливого крылатого мальчика, направившего на нее свой лук...

Тициан, конечно. Они ведь с Аретино близкие друзья.

Она так загляделась на дивное полотно, где каждый локон красавицы, чудилось, жил своей жизнью и вздрагивал под шаловливым ветерком, что и сама вздрогнула, когда легкий сквозняк из распахнувшейся двери возвестил, что в комнату вошел хозяин.

На нем был алый камзол, в тон дивному убранству, и Цецилия почти с ужасом ощутила неуместность здесь, в этом уютном гнездышке, трех мрачных, облаченных в черное фигур: ее самой, Луиджи – и Дарии. Прежде всего – Дарии!

Забыв даже откинуть капюшон, та застыла посреди комнаты олицетворением упрека и отчаяния, и Цецилии показалось, что сейчас эта несчастная дурочка со всех ног кинется прочь отсюда... но этого не произошло, потому что Аретино заговорил:

– Я благодарю за честь, которую оказали мне своим появлением прекрасные и достойные дамы. Это большой, большой подарок! – Он поклонился Цецилии, потом Дарии и улыбнулся ей, пытаясь заглянуть под капюшон: – Соблаговолите преподнести мне еще один дар, синьорина: откройте ваше лицо. Аромат этих цветов желает коснуться ваших уст, столь же свежих и нежных, но во сто крат более сладостных. – Он вынул из вазы цветок и провел им по своим губам.

У Цецилии подогнулись колени. Этот жест так много значил на языке нежной страсти, но он был обращен не к ней... не к ней!

Дария, однако, не шелохнулась, а Цецилия почувствовала себя отмищенной: да ведь девчонка даже не понимает смысла таких речей! Перед кем ты распускаешь хвост, Пьетро?

Обычно смутить Аретино было невозможно. Получив отпор, он делал вид, что ничего не произошло, и продолжал молоть вздор с очаровательной наглостью, которая и делала его неотразимым. Но сейчас... Цецилия изумилась, увидев, что он замер, неловко вертя в руках розу, и трагическим взглядом уставился на Дарию. Внезапное молчание длилось столь долго, что Цецилия занервничала и решила его нарушить, но Луиджи предостерегающе свел брови, и она прикусила язычок – как выяснилось, вовремя, ибо смущенная, испуганная Дария наконец-то решила поднять глаза и взглянула на Аретино... именно в тот миг, когда он резко отшвырнул розу:

– Луиджи! Убери цветы! Все до одного!

Луиджи беспрекословно взялся за ближнюю вазу, но легкий, как вздох, шепот Дарии:

– Не надо!.. – заставил его замереть.

– Нет, надо! – печально сказал Аретино. – Если вам не нравятся эти розы, их не должно быть здесь!

– Они нравятся мне, синьор, они прекрасны! – воскликнула Дария и, убоявшись собственной прыти, снова укрылась под защитой капюшона.

– Но вы не смотрите на них. Вы так печальны! Может быть, вам не нравится убранство этих покоев? Только прикажите – и мы перейдем в другие!

Дария покачала головой.

– Так в чем же дело? – продолжал допытываться Аретино. – Вы не отвечаете, не смотрите на меня... Может ли быть... неужели это мой вид внушает вам отвращение? – Голос его дрогнул, у Цецилии дрогнуло сердце...

Дария подняла голову и поглядела в лицо человеку, голос которого звучал так странно, так нежно... чарующе...

Что же она видела? Цецилия твердо усвоила, что, глядя на одно и то же лицо, один и тот же предмет, люди видят совершенно разное, и все же она не сомневалась: ни одна женщина не может без трепета взирать на этот божественный лик, исполненный благородства, достоинства и... и...

Аретино не был красив в классическом смысле этого слова, но четкостью линий и пропорций лицо его не уступало классическим образцам. Может быть, слишком глубоко посаженные глаза, слишком резкий нос, слишком полные, безукоризненно четкие губы и могли показаться кому-то некрасивыми, но это было лицо человека, которого Природа наделила крепким здоровьем и кипучим темпераментом. Это было лицо, исполненное страсти, которую Аретино испытывал к прекрасной даме по имени Жизнь, обожая и обожествляя ее во всех ее проявлениях, была ли то плотская любовь, или страсть к пышным трапезам, веселым пирам, изысканным винам и фруктам, роскоши в своем доме, или восхищение буйством красок на Тициановых полотнах или в небесах над Лагуной, восторг при виде множества новых драгоценностей или кошельков с золотом, присланных очередным покровителем, – и сейчас все эти чувства собрались воедино в его взоре, воплощая собою одно – желание женщины, в

глаза которой он смотрел.

И могла ли она остаться равнодушной?! Чудилось, и мраморная статуя ожила, затрепетала бы, приоткрыла губы, чтобы с них сорвалось чуть слышное «нет»!

Это был всего лишь ответ на вопрос Аретино, однако Цецилия услышала в нем нечто большее: Дария из последних сил противилась победительному обаянию этого человека, и слово «нет» было исторгнуто всем ее существом, готовым сдать последний рубеж обороны... но еще не сдавшим. И она так и не сняла свой капюшон.

Аретино, прищурясь, взгляделся в затененные, полускрытые черты и кивнул. Глаза его сделались печальны, плечи поникли.

– Благодарю за это «нет», – проговорил он таким безжизненным голосом, как если бы понимал: оно сказано лишь из вежливости, а на самом деле Дария не чаёт от него избавиться. – Позвольте в таком случае поцеловать вашу руку, прекрасная дама, в знак того безграничного уважения и восхищения, которое я питаю к вашей особе.

Цецилии уже начали несколько надоедать эти скучно-испанские церемонии. Дария ведь прекрасно знает, зачем ее привели в этот дом, а Пьетро ведет себя с ней, будто с нетронутой девственницей. Ручку поцеловать! Да где! Разве она позволит!.. И тут, к ее изумлению, Дария протянула руку... причем даже быстрее, чем позволяли приличия.

Аретино схватил ее, как драгоценную добычу, но не склонился перед дамой, как сделал бы француз, а поднял руку к своим губам и прижался ими к ладони.

Рука дернулась – Цецилия всем ревниво-напряженным существом своим ощутила, какая дрожь пронзила девушку при одном только прикосновении этих жарких, опытных губ, а потом губы Аретино медленно поползли выше – и Дария покачнулась.

Аретино протянул другую руку к ее капюшону, но еще не тронул его, а продолжал поцелуй, вернее, это сладострастное, рассчитанно-чувственное, восхитительное по своей невинности и одновременно греховности прикосновение, вглядываясь в едва различимое лицо Дарии и словно умоляя

разрешить ему... разрешить...

Он ничего не делал – только смотрел и целовал руку, и Дария ничего не делала – только смотрела на него, а может быть, и вовсе стояла с закрытыми глазами, но воздух в комнате, чудилось, дрожал, как дрожит раскаленное марево... раскаленное марево невысказанной страсти, которая пронизывала всех присутствующих...

Вдруг Дария тряхнула головой. Капюшон упал! Светлые, вьющиеся, легкие, будто золотистая пряжа, волосы разметались по ее плечам, спине, реяли, словно живые нити, в воздухе и тянулись к черным волосам Аретино, который не упустил мгновения и припал к губам Дарии таким поцелуем, словно не намерен был прерывать его ни в этой жизни, ни в будущей.

Цецилия протестующе вскрикнула, но тут же сильнейшим рывком Луиджи была выволочена из комнаты и удержалась на ногах лишь потому, что успела ухватиться за портьеру.

Она с яростью оглянулась на Луиджи, но при виде этих черных, сплошь заливших глаза, безумно расширенных зрачков ярость ее уменьшилась, ибо Цецилия поняла, что Луиджи сжигают та же ревность и похоть, которые испепеляют сейчас и ее.

Аретино не обнимал Дарию – только целовал ее, но пальцы его, то сжимающиеся в кулаки, то нервно распрямляющиеся, выдавали, какие судороги пронзают его тело. Но он не двигался – он был покорен, покорен ее пальцами, которые пытались сорвать с него одежду.

Оказывается, предыдущая ночь все-таки не прошла для Троянды даром!

Глава IV

Аретинка

Троянда чуть повернула голову и коснулась губами черной курчавой поросли на груди Пьетро. Тело его было так густо покрыто шерстью, что иногда распаленной Троянде чудилось, будто с нею любodeйствует не совсем человек, а... не то зверь, не то божество. Пожалуй, и то, и другое, и третье, потому что Аретино был всем сразу. Троянда прежде и вообразить не могла, что бывают на свете такие существа.

Да что, собственно, она вообще знала?! Теперь Троянде казалось, что вся ее прошлая жизнь имела смысл лишь постольку, поскольку она выучила в монастыре классическую латынь и древнегреческий язык... как выяснилось, для того, чтобы запоем читать книги из роскошной библиотеки Аретино. Это было очередным открытием (да вся ее жизнь теперь состояла из открытий!) – узнать, что книги могут описывать не только жизнь святых, но и каких-то других мужчин и женщин, чье призвание заключалось в служении не Богу, а Любви.

Гомер, Сафо, Анакреонт, Овидий, Гораций, Диодор Сицилийский, Аполлодор – их было не счесть, не счесть было их книг, которые Троянда читала без усталости, сначала со сладостным ощущением, что совершает смертный грех, но очень скоро это сменилось восхитительным чувством свободы. Так вот, оказывается, что такое жизнь!

Чем была ее жизнь прежде? Она не вспоминала монастырь, разве что Гликерию, да и то лишь потому, что от нее одной видела любовь и заботу. Матери своей она не помнила – иногда всплывали в памяти ласковые светлые глаза, глядевшие словно бы мимо, затуманенные какими-то тайными мыслями; легкая, небрежная улыбка... это было все, что она помнила о своем прошлом. Гликерия говорила девочке, что обе они родом из далекой огромной страны, называемой Русью, но в памяти Троянды это слово было прикрыто непроницаемой завесой ужаса, сквозь которую иногда брезжили очертания ледяного зимнего леса, долгого, мучительного пути, мрачного взгляда чьих-то черных глаз... страх, вечное желание куда-то спрятаться от этих ненавидящих глаз... больше она ничего не помнила – вернее, боялась вспомнить. Гликерия сперва пыталась расспрашивать, но девочка заходила в мучительных рыданиях, едва удавалось вызвать в памяти хоть какой-то образ ее прежней жизни, поэтому старая садовница и отступилась, мудро рассудив: Господь наверняка знал, что делал, когда прикрыл сознание ребенка завесой беспомыслия. Со временем Дария и вовсе перестала размышлять о своем прошлом. «Русь», «мать», «дом» – это были только слова, не наполненные никаким значением. Жизнь она привыкла исчислять с того мгновения, когда среди мягкой, тенистой зелени

монастырского сада увидела морщинистое, смуглое лицо Гликерии... но теперь она поняла, что ошибалась. Жизнь началась для нее с той минуты, как высокий синьор в алом камзоле взял ее руку и припал поцелуем к ладони.

Теперь она знала, зачем страдала в детстве, зачем изнывала от неосознанной тоски в монастыре, зачем была соблазнена дьяволом и покинута Богом. Это все было испытание, ожидание, служение – на пути к счастью, которое, оказывается, можно обрести только в объятиях этого мужчины.

Обеты и молитвы она стряхнула с себя, как изношенную одежду. Если бы кто-то решил упрекать ее, она могла бы сказать, что Бог первым предал ее верность, когда позволил дьяволу насиловать ее. Что проку служить повелителю, не могущему защитить рабу свою? И за что, за что она была отдана на растерзание чудовищу, развратившему ее?.. Впрочем, возмущение Божьим недосмотром и предательством было не слишком бурным. Троянда любила размышлять и исследовать сцепление событий и потому не могла не понимать: одно вызвало другое, и ежели бы дьявол не овладел ею в ту роковую ночь, она закончила бы дни свои в монастырской скуке, так и не узнав Аретино! При одной только мысли о том, что их дороги никогда не пересеклись бы, Троянда могла только возмущаться, что Бог не отступился от нее еще раньше. Она не знала, что лишь подтверждает мудрое мнение, что женщина всегда остается женщиной, а плоть плотью, что только глупцы думают, будто ряса и чепец – это неизлечимая болезнь.

В своей новой жизни Троянда жалела только об одном: что Аретино не разрешает ей увидеть мать аббатису и возблагодарить ее, как всемилостивую Мадонну, за то счастье, которое она даровала перепуганной, несчастной, угрюмой девчонке. Впрочем, мать аббатиса, пожалуй, и не узнала бы прежнюю Дарию в красавице, обвитой розовым шелком, с коротеньким модным корсажем, усыпанным драгоценностями, с оголенными плечами и бюстом, с короткими рукавами, затканными золотом и серебром, с длинным-предлинным шлейфом, который Троянде пришлось учиться носить. Да ей вообще всему на свете приходилось учиться, от любви до искусства одеваться. Поначалу руки ее путались, и, с утра начав, она едва могла закончить это занятие к вечеру. Вечером являлся Пьетро и начинал хохотать, застав ее еще неубранной, в одну минуту срывал одежды, на которые были затрачены много часов...

Как-то раз, взглянув на небрежно смятое и кое-где разорванное платье (она даже не успела пристегнуть рукава и мех на грудь!), Троянда робко заикнулась,

что не надо покупать ей столь дорогие наряды, ежели их постигает такая участь. Аретино расхохотался:

- Ты теперь знатная дама, дитя мое, ты *grandezza*, а это значит, что должна носить все самое лучшее. Но в одном ты права: мода нынче тяжеловесна. Еще десять-двадцать лет назад все дамы старались выглядеть юными девушками; теперь же все бутоны стремятся поскорее превратиться в пышные, зрелые цветы. Рукава, на мой взгляд, тяжеловаты... Мы поступим вот как: я закажу для тебя наряды не столь помпезные, но не менее роскошные, с которыми ты вполне будешь успевать управляться. И пришлю служанку. Знатной госпоже нужна служанка!

Троянда радостно поцеловала своего щедрого возлюбленного, но наутро, когда она увидела служанку, радость ее померкла: это оказалась негритянка! Мавры были в Венеции не редкость: разумеется, в качестве рабов. Только воспоминание о том, что она сама была прежде рабыней, сдержали ее первый порыв вытолкать Моллу (так звали служанку) взащей. Аретино не спрашивал ее мнения: он просто подарил ей купленную полгода назад Моллу, как дарил жемчуг, изумруды, шелк, парчу, туфли, кружево... Он ведь не знал, что Троянде тошно будет смотреть на лунообразную, черную с лиловым отливом физиономию африканской великанши, на ее руки: ладони у нее были смугло-розовыми, а тыльная сторона сплошь черной. Уж лучше бы они были сплошь черными! Троянда едва не впадала в истерику от брезгливости, когда эти «ободранные» руки касались ее кожи.

Но если чему-то она научилась от старой Гликерии, а потом и в Нижнем монастыре, так это терпению, и постепенно она привыкла терпеть Моллу, ничем не выдавая своего раздражения, тем более что невзрачная негритянка оказалась замечательно услужливой. Особенно ловка она была натирать тело, а ведь всевозможные ароматы Востока: мускус, амбра, алоэ, мирра, листья лимонного дерева, лаванда, мята и прочее – считались неременной принадлежностью дамского очарования. Благовония доставлялись Троянде в таких количествах, что она невольно ужасалась, воображая всех знаменитых дам Венеции, которых положение обязывает использовать ежедневно эти листья, травы, масла. Этих дам было не меньше десяти тысяч (на большее у Троянды просто не хватило знаний арифметики), и стоило представить количество корзин, коробов... кораблей, на которых все это привозится! Она рассказала о своих мыслях Аретино, и тот, по своему обыкновению, расхохотался – он всегда смеялся всему, что она говорила, но с некоторым удивлением, как если бы не мог вообразить в ней вообще такой способности – думать, – и

ответил:

– За все это мы должны благодарить дочь византийского императора Константина Дукаса, жену дожа Доменико Сельво. Она держала сотни рабов, занятых только тем, что каждое утро они ходили собирать росу с цветов. Лишь этой росой она могла умываться. Другие сотни рабов умащали ее тело, одевали ее. Когда она стала от множества притираний и духов гнить заживо, венецианцы придали этому значение Божьей кары. Но было уже поздно! Такой образ жизни понравился женщинам. С тех пор в венецианской жизни так много любви к красивой внешности, дорогому убранству, богатым тканям, удушающим ароматам, восточным нарядам, чернокожим слугам и золотоволосым женщинам. – Он поцеловал локон Троянды и усмехнулся, увидев испуг в ее глазах: – С тех пор прошло лет двести, а никто больше не сгнил заживо от притираний. Зато скольких мужчин возбуждали эти ароматы...

Эти слова решили все. Если амбра, мускус и прочие душистые запахи нравятся Пьетро, Троянда будет благоухать ими! Тут уж Молла оказалась незаменима. И хотя Троянда сама натирала себе грудь, живот и бедра (прикосновения Моллы к этим частям ее тела вызывали тошноту!), но спину, руки и ноги негритянка разминала и натирала замечательно. Кожа становилась мягкой и нежной, будто цветочный лепесток, даже жаль было прятать под платье это душистое великолепие. Впрочем, новые фасоны платьев, которые теперь носила Троянда, больше открывали, чем закрывали. С помощью Моллы Троянда освоила тонкое кокетство надеть платье так, чтобы вся грудь до пояса была видна. Сначала она не понимала, как исхитриться, чтобы платье не свалилось со спины, ведь вместе с грудью открыты были и плечи. Но умение удерживать одеяние пришло само собой, так же, как и привычка украшать драгоценностями не тело, а волосы. Голова ее была осыпана бриллиантами, рубинами, изумрудами, сапфирами, каждая прядь обвивалась жемчужной нитью. Прическа сделалась настоящим искусством, а подкрашивание лица... и тела...

Аретино, глядя на набеленную и подрумяненную грудь своей возлюбленной, однажды сказал:

– Ну, теперь ты настоящая аретинка!

– Аретинка? – переспросила Троянда. – Что это значит?

– Это значит, – ответил Пьетро, привлекая ее в свои объятия, – что ты – моя. Что ты принадлежишь мне...

И слово «аретинка» засияло, засверкало, расцвело.

Ах, он всегда знал, что сказать и как сказать! В конце концов, это ведь и было начало и конец, альфа и омега, смысл ее жизни: принадлежать Пьетро. Вся жизнь Троянды заключалась в нем... а его жизнь? Уходя поутру из ее покоев (Троянде принадлежали три огромные залы и в придачу две гардеробные, туалетная и купальня), он возвращался лишь вечером, а то и поздно ночью, и Троянде порою становилось до слез жалко своей пропадающей красоты. Она читала, наряжалась, глядела в окна, гуляла в крошечном садике, где был фонтан – мраморная статуя вечно плачущей Ниобеи, и заросли магнолий и мирты закрывали раскаленное солнце... Она в сотый, в тысячный раз смотрела на чудесные картины, столь же наивно-непристойные, сколь и прекрасные, во множестве украшавшие ее покои, с изумлением разглядывала мужские и женские тела, изумляясь тому, что кто-то еще на свете способен испытывать любовь и страсть. Она-то думала, что лишь они с Аретино... Не их ли пылкую нежность провидели гениальными взорами Тинторетто и Тициан, запечатлев ее в образе других людей?..

С Тинторетто, Троянда знала, Аретино был в ссоре: художник угрожал ему оружием, когда тот вздумал заступаться за Тициана в споре, случившемся между двумя великими мастерами. Зато дружба с Тицианом окрепла: Троянда знала, что Пьетро нередко бывает на улице Бирирде, где, близ церкви Святого Канчиано, жил художник. Разумеется, Троянду Аретино с собой не брал: ведь она была всего лишь аретинка, а приглашения на ужины к Тициану добивались, как великой чести, самые знатные люди Венеции, все эти Саммикелли, Нарди, Донато Джакотти! Троянде оставалось только представлять, как бы она входила через резной портик в громадную темную залу, а потом – прямо в веселый сад, откуда открывался вид на поэтические лагуны, на отдаленные, едва различимые на небесах вершины Альп... Там она познакомилась бы со вдовой великого Корреджо, которую называли «дамой Корреджо» и которая вместе с друзьями покойного мужа, Сансовино, Тицианом и Аретино, просиживала целые часы за столом, уставленным блюдами с дроздами, приправленными перцем и лавровыми листьями, с окороками из Фриуля, присланными Аретино графом Манфредом де Калланта, причем рекой лилось превосходное треббиано, которое обязательно доставляла «дама Корреджо»...

Все это Троянда знала только по рассказам Пьетро. Да и всю жизнь его она знала лишь по его рассказам!

Конечно, она скучала... но ведь у него не было ни минуты свободной!

– Столько важных господ, – говорил Аретино, – одолевает меня постоянно своими визитами, что мои лестницы истоптаны их ногами, как мостовая Капитолия колесами триумфальных колесниц. Я не думаю, чтобы Рим видел такую смесь народов и языков, какая наполняет мой дом. У меня можно встретить турок, евреев, индийцев, французов, испанцев, немцев; что до итальянцев – подумайте, сколько их может быть! Я не говорю уже о черни; невозможно видеть меня без монахов и патеров вокруг... Я прославлен своими стихами и драматургией. Теперь ты понимаешь, что принадлежишь великому человеку?

– Да, да, да! – шептала Троянда, целуя его так жарко, как хватало сил.

Впрочем, настроение у Аретино тотчас изменилось:

– Какое жалкое орудие – слово! Иногда тон атласного тела, или светящаяся тень на обнаженном плече, или трепетание света на зыбком шелке притягивают взор, а в твоём распоряжении только пустые слова, чтобы передать это! Нет, орудием влюбленного художника должна быть только кисть. Какая жалость, что я так и не стал художником! Ты вдохновляла бы меня на бессмертные полотна, моя Троянда, моя золотая северная роза! Тициан умер бы от зависти!

Троянда вспомнила, как однажды робко намекнула: мол, нельзя ли попросить великого Тициана написать ее портрет? Она думала, Аретино высмеет ее за самонадеянность, но тот, наоборот, рассердился:

– Вот еще! А вдруг этот donnaiolo[22 - Бабник (итал.)] тебя сманит? Нет, еще не время. Может быть, когда-нибудь потом...

Эти слова надолго озадачили Троянду. Как это, интересно знать, ее может сманить Тициан – пусть он и великий художник? Ведь она безраздельно принадлежит Аретино, она любит только его и будет любить вечно. Ради него она оставила монастырь, нарушила все обеты, в его объятиях она испытала ни с чем не сравнимое счастье... да как же возможно лишиться этого? Как это

оставить? Как нарушить связующие их узы? Неужто Пьетро считает ее способной на такое преступление? Да ведь это куда большее святотатство, чем бегство из монастыря! Ведь сам он на такое никогда не решится, отчего же подозревает Троянду в нечистых помыслах?

Вот если бы он проводил с нею побольше времени, она уж заставила бы его позабыть о глупых, ревнивых подозрениях. Но он был занят. Он должен был писать, потому что только гонорары давали ему средства жить так, как он хотел. Дария привыкла к монастырской умеренности, которая была во многом сродни бедности, ну а Троянда вспоминала об этом с ужасом.

Как? Есть только черствый хлеб, и несвежий сыр, и самые мелкие померанцы, и дурной виноград, когда можно есть жареную птицу, и роскошную ветчину, и мягкий, словно пуховая подушка, хлеб, и чудесных креветок и крабов с белой, душисто-солонюватой мякотью, и лучшую, нежнейшую рыбу! Персики, виноград и померанцы, подаваемые ей, всегда сочились спелостью и соком. И она больше не хотела знать грубого полотна и колючей шерсти: ее тело требовало шелка и кружева, этого «сквозного покрывала», на цену одного локтя которого можно одеть бедную семью. Но Троянде было безразлично это. Ведь Пьетро воскликнул восхищенно: «Нет большей прелести, как бело-розовое тело красавицы, блистающее под тонкими сетями шелковых уборов!» – значит, она должна носить только то, что ему по нраву. И он должен делать лишь то, что ему нравится, жить в роскоши. Бедность он ненавидел не только из-за лишений, которые она приносит с собою, но еще из-за стеснений, которые она налагает на душу, из-за необходимости размерять каждый свой поступок, каждую мысль, делать из мелочной арифметики закон и руководство жизни. Не отдавая себе в том отчета, Троянда чувствовала: широкая и свободолюбивая натура Аретино могла вполне показать меру своих талантов только среди довольства и изобилия. Деньги были нужны ему, чтобы быть щедрым и расточительным, добрым и отзывчивым, как велела ему его природа. Аретино любил жизнь, любил жить и хотел, чтобы в его жизни было как можно больше красок, как можно больше цветов. А такой человек, понимала Троянда, не может быть ни злым, ни жестоким, ни скупым. Он по необходимости добродушен, не памятен на зло, щедр и кошельком, и сердцем.

– Да если бы я имел в тысячу раз больше, я все же нуждался бы! – восклицал он простодушно. – Все прибегают ко мне, точно я управляющий королевской казной. Если какая-нибудь бедная девушка родит, издержки падают на мой дом. Если кого-нибудь заключат в тюрьму, я должен заботиться обо всем. Солдаты

без амуниции, путешественники, попавшие в несчастье, странствующие кавалеры являются ко мне поправить свои дела. Меньше двух месяцев назад один молодой человек, раненный по соседству, велел отнести себя в одну из моих комнат. Мои слуги меня обкрадывают! У меня в доме двадцать две женщины с малютками у груди!..

Эти несчастные женщины, которых с детьми приютил великодушный Пьетро, особенно растрогали Троянду. Несчастные! Кто же они такие? Служанки? Ей очень захотелось с ними познакомиться, повозиться с детьми, но Аретино не позволил. Однако теперь Троянда утешала себя во время долгого одиночества: «Пьетро нужны деньги, чтобы помогать бедным людям!» – и не то чтобы меньше тосковала по нему, но переносила тоску более стойко. Она-то ведь по-прежнему была предоставлена лишь самой себе... и Молле.

* * *

Между прочим, Молла все более приковывала к себе ее интерес. Она уже не была для Троянды неким бездушным предметом, вызывающим лишь брезгливость. Грубые черты черного лица, сверкающие белки глаз и вывернутые губы перестали ее пугать. Она пригляделась к ним и порою думала, что там, в Африке, Молла вполне могла считаться красавицей. Вот если бы она только не была такой огромной!

Строго говоря, Молла лишь на полпальца превосходила ростом Троянду, но казалась рядом с ней, тонкой и стройной, настоящей великаншей из-за своей толщины. Она всегда носила какие-то свободные, очень яркие балахоны, но в последнее время так растолстела, что даже эти развевающиеся тряпки плотно обтягивали ее раздавленные бедра и живот. Это было тем более странно, что ела негритянка очень мало – доедала с тарелок Троянды, и то не дочиста. Похоже, толщина ее была весьма болезненной, потому что лицо Моллы теперь почти всегда имело унылое, озабоченное выражение, а иногда она так вскрикивала, хватаясь за живот, словно ее пронзала страшная внутренняя боль. Троянда жалела служанку и не давала ей никакой тяжелой работы. Она бы даже посочувствовала Молле, но они прожили три месяца рядом и не сказали друг другу почти ни слова, кроме коротких приказаний от госпожи и робкого: «Да, синьора. Как прикажете», – от служанки, так что Троянде было неловко вдруг пускаться в беседы. Если надо, Молла ведь и сама пожаловаться может... Но она не жаловалась, терпела свою болезнь молча и только старалась держаться

подальше, когда появлялся господин. Впрочем, ее услуги почти не требовались, ибо Пьетро предпочитал сам раздевать возлюбленную, если хватало на то терпения, конечно, – ну а одевалась она уже днем, после его довольно раннего ухода. Только тогда появлялась Молла.

Но однажды Аретино ушел, и Троянда проснулась, и уже полдень близился, а служанка все не шла.

Сперва Троянда ждала терпеливо, потом начала потихоньку злиться. Нет Моллы – значит, нет завтрака, нет ванны, нет притираний и одеваний. Другой прислуги у Троянды не было, она только предполагала, что в доме множество слуг. Разумеется, одеться она и сама могла, да и причесаться – дело нехитрое. А как быть с едой и водой? В самом деле, не высунешься же голая и грязная в коридор, не закричишь в никуда и никому:

– Я хочу помыться и поесть!

Троянда ждала, злилась... Потом вдруг ее осенило: да ведь помыться можно в фонтане! Там чистая и довольно теплая, прогретая солнцем вода. А потом она оденется, причешется и потихоньку отыщет Пьетро, или, на худой конец, Луиджи, или просто буфетную и кухню.

От этой замечательной мысли Троянда даже подпрыгнула! Пьетро, конечно, не велел ей никуда ходить, и она не решалась его послушаться, но ведь сейчас у нее вполне приличный предлог. Не с голоду же умирать, в самом-то деле. Молла виновата куда больше, чем она, это ведь ее отсутствие вынудит Троянду послушаться Пьетро!

Она сорвалась с постели и ринулась в сад, прихватив с собою простынку – вытереться после купания – и кружевную сорочку. Впрочем, она вполне могла ходить совершенно голая: все равно в ее покои не заглядывает никто, а Пьетро придет лишь к ночи.

В щебечущем, благоухающем, шелестящем и сверкающем садике она сорвала с себя рубашку и прыгнула в чашу бассейна, не сдержав восторженного крика.

О, вода... какая вода! Живая, не холодная, не горячая – теплая, вся пронизанная солнцем. И пахнет солнцем и дождем. Все, никаких больше ванн: Троянда с этого дня будет купаться только в фонтане! Она плескалась, смеялась, что-то выкрикивала... Прервать это райское наслаждение вынудил голод. Почему-то после купания есть захотелось еще сильнее, и Троянда выскочила из фонтана так же проворно, как и забралась сюда. Вытерлась, нежась под лучами солнца, наспех подобрала намокшие волосы, которые стали мягкими, легкими и пахли свежестью, как и все тело, натянула сорочку и начала обуваться. По утрам она носила шелковые мавританские туфли без задников, и теперь одна такая туфля куда-то задевалась. Похоже, вскочив на парапет и в восторге трясая ногами, Троянда зашвырнула свой башмачок неведь куда. Не идти же босиком по колючему песку!

Она спрыгнула с парапета на полосу зеленой травы и с наслаждением пошла по ней босиком, озираясь в поисках туфли. Босым подошвам было так приятно! Трава ласкала их, как шелк. И Троянда с удивлением осознала: это уже было... было с ней! Она вспоминала зеленую траву, по которой бежала босиком... только этой травы было много, много, целое море, простирающееся до самого горизонта, а из зелени выглядывали маленькие цветочки: желтые, белые, ярко-розовые, необычайно синие... Где это было? Было ли? Или приснилось во сне?

Захваченная живым, острым, душистым воспоминанием, Троянда замерла, прижав руки к груди и растерянно озираясь... как вдруг увидела нечто, от чего дыхание ее на миг пресеклось.

В тени магнолии, усыпанной огромными белыми, словно бы восковыми цветами, лежала какая-то темная груда. Она была едва прикрыта чем-то алым, скомканным, и Троянда не поверила своим глазам, когда разглядела, что это лежит Молла, едва прикрытая своим задраным на грудь ярким балахоном.

Так вот куда она пропала! Госпожа ждет, а эта негодная негритьянка спит в кустах, даже не замечая, как безобразно задрано ее платье.

Троянда гневно ринулась вперед – и замерла.

В позе Моллы, лежащей так неподвижно, с безвольно раскинутыми ногами, было что-то особенное... что-то жуткое! Дрожь прошла по плечам Троянды, она замерла, не решаясь даже позвать и нарушить эту тишину, которая только что

была солнечной, трепещущей, звенящей, но вдруг сделалась мертвенной, давящей. Она могла только затаить дыхание и смотреть...

Она могла только смотреть, и глаза ее, постепенно привыкая к сумраку тенистого уголка, начинали все отчетливее видеть запрокинутую голову Моллы, ее широко разбросанные руки, в которых были зажаты пучки с корнем выдернанной травы, огромные груди, окаменело вздетые к небесам, опустившийся, вдруг сделавшийся плоским живот, мучительно раздвинутые ноги... и лужу крови, в которой она лежала, которая уже не лилась, а почти вся впиталась в землю.

Троянда пронзительно вскрикнула, а потом горло ее перехватил ужас, ибо она увидела темную, окровавленную головку и скрюченные ручки младенца, торчащие из чрева Моллы. Горло его было опутано пуповиной, и он был такой же неподвижный и мертвый, как его мать, которой не хватило сил разродиться.

Троянда испустила еще один крик – да такой, что ей почудилось, будто вся душа ее с болью исторглась из тела, – а потом рухнула наземь, и сознание покинуло ее.

Глава V

Старый знакомый

Кто знает, может быть, Троянда так бы и пролежала до вечера, а то и до глубокой ночи в садике, но, по счастью, слуги услышали ее истошный вопль и не поленились забраться на стену и поглядеть, что стряслось. Хозяин отсутствовал, но дома оказался Луиджи Веньер, который всем и распорядился.

Троянду уложили в постель; мертвую, прикрыв, унесли; Луиджи оказался до того расторопен и заботлив, что велел отмыть дочиста траву, на которой лежала Молла. Траву-то отмыли, однако кровь уже успела так глубоко впитаться в землю, что невозможно было искоренить злое буре пятно, так и сквозившее из-под зелени. Однако Троянда об этом не знала. Проведя день в глубоком беспамятстве, она очнулась лишь за полночь и впала в такое отчаяние,

разразилась такими рыданиями, что Аретино не знал, как ее успокоить. Всюду чудился ей призрак Моллы; отовсюду слышалось медленное шлепанье ее босых ног, из-за каждой портьеры сверкали мученически выкаченные, слишком яркие белки.

Аретино едва сдерживал ярость. Всякое случилось в его доме, этом многоликом мире: драки, поножовщина, неопикуемые оргии, даже покушение, когда кондотьер Пьетро Строщи за одну сатирическую песенку возненавидел Аретино и послал *bravi* заколоть его в постели, – но такая гнусность впервые осквернила этот дворец.

Ему, разумеется, не было жаль Моллу: сама виновата! – но состояние Троянды пугало и раздражало его. Он еще не насытился этой покорной, всепоглощающей любовью, его еще возбуждали постоянное смиренное ожидание любовницы, ее готовность жить им одним, ему нравилась женщина, не обремененная лишними знаниями, ревнивыми подозрениями, не задающая никаких вопросов, не осмеливающаяся ворчать на то, что ей не нравится присутствие других аретинок, или хорошеньких мальчиков с томными, сильно подведенными глазами, или попойки, или случайные люди, все время что-то жующие в буфете, где слишком много мучного и мясного... «Меньше знаешь – лучше спишь, – философски размышлял он, – а то, чего не знаешь, вообще не существует». Но теперь все изменилось. Теперь Троянда плачет, и кричит, и уверяет, что призраки одолевают ее, и называет три свои великолепные комнаты окровавленной камерой пыток... Она не в себе, это понятно, поэтому Аретино не обижался. Он по сути своей не был человеком злым, тем более не мог он быть злым к столь прекрасной женщине, а потому решил, что Троянду необходимо излечить, сменив обстановку ее жизни.

В правом крыле дворца, на втором этаже, есть три неплохие комнаты. И тоже сад, но попросторнее, весь заросший розами. Чудесное местечко. Троянде там будет хорошо. Правда, комнаты стоят пустые и неубранные после того, как оттуда сбежал этот юный дурачок Винченцо. Неужели ему было мало тех денег, что платил Аретино? Ну, пусть поищет другого такого щедрого и снисходительного покровителя. Надо велеть Луиджи все переделать, убрать в тех покоях, повесить картины, портьеры, поставить мебель. И все, все должно быть совершенно другое, новое, ни одна вещь не будет напоминать Троянде о той жизни, в которой присутствовала Молла. И Аретино оденет ее во все новое с головы до пят, осыплет новыми драгоценностями. Все, что она пожелает, только бы успокоилась, только бы снова стала той же веселой птичкой, которая

беззаботно чирикала в золотой клетке в ожидании своего хозяина.

Все новое! И – вот замечательная, поистине великолепная мысль! – эти новые вещи Троянда сможет выбрать себе сама. Целый день они вдвоем проведут на Мерчерие[23 - Главная торговая улица Венеции.], и он будет покупать Троянде все, что ей ни пожелается, пусть даже это будет солнце в небе. А потом, к вечеру, они вернутся во дворец, пройдут в новые, свежееубранные покои, куда будут уже доставлены все покупки, устроят великолепный ужин, отмечая новоселье... а потом будет ночь, такая ночь, что золотая роза Аретино забудет обо всем на свете, не то что об этой дикарке Молле, которая всем была хороша, да вот беда, оказалась так глупа, так непроходимо глупа, что заслуживает теперь лишь скорейшего забвения.

И, изгнав мертвую африканку из своей бездонной памяти, Аретино вытянулся на постели рядом с беспокойно дремлющей Трояндой, намереваясь хоть немного поспать перед оргией покупок, которая начнется завтра с самого утра.

* * *

О, эта улица Мерчерие! Блестящие патриции и патрицианки, разряженные в пух и прах; албанские воины, находящиеся на службе у республики; греки; матросы всевозможных судов; залитые в золото и багрянец должностные лица Венеции; гондольеры в бархате – все мешалось, сталкивалось и разливалось по узкой улице, между двумя рядами блестящих лавок. Витрина каждой была убрана с таким вкусом и роскошью, что представляла собою бесценную картину. Сукна, разные невиданные материи, шелка, атласы, бархат, дивные, тончайшие в мире кружева, изящные бахромы, полотна, разноцветные ленты, парча, золото, серебро, жемчуг, брильянты – все это представляло зрелище неопишное.

У Троянды разбежались глаза, она не знала, куда смотреть: то ли в витрины, то ли на платья проходивших мимо дам (некоторые повергали ее в завистливый столбняк!), то ли, задрав голову, разглядывать балдахины с золотыми кистями, украшавшими каждую лавку. Все стены в честь завтрашнего праздника Успенья Богоматери были закрыты волнами белого шелка и атласа, от дома к дому через улицу висели цепи, на которых красовались фонари из граненого хрусталя. Наверное, вечером, когда зажгут эту иллюминацию, горящая бесчисленными огнями и убранная во все белое Мерчерие будет представлять собою воистину волшебное зрелище! Впрочем, подумала Троянда, если они с Пьетро и дальше

будут продвигаться с такой же черепашьей скоростью, останавливаясь перед всякой витриною, заходя во всякую лавку и покупая все подряд, они недалеко уйдут, и вечер застанет их на Мерчерие, и они увидят все великолепии иллюминации.

Сердце Троянды дрожало от восторга. Какой Пьетро добрый, как любит ее, если привел ее сюда и всячески старается развлечь! Конечно, он и сам любил роскошь, прекрасные вещи, блеск, золото и сверканье ожерелий, колец, серег; он и сам получал удовольствие, перешучиваясь с торговцами, толкаясь среди покупателей... особенно когда его бриллиантовые пуговицы, нарочно пришитые кое-как, вдруг отрывались, катились по мостовой, их кто-то поднимал, с трепетом возвращал – и тогда Аретино снисходительно дарил пуговицу поднявшему, забавляясь, как дитя, его восторгом... Конечно, ему самому здесь нравилось, но все-таки он потратил целый день своего драгоценного времени, и кучу денег, и готов потратить еще больше, только чтобы утешить ее, изгладить из ее памяти смерть Моллы.

Страшный образ мертвой негритянки и впрямь отодвинулся куда-то в глубины сознания, однако порою всплывал на поверхность, и тогда словно бы черная тьма застилала взор Троянды, стирала улыбку с ее уст, холодила ладони. Но она не давала Пьетро заметить свою печаль и с удвоенным интересом перебирала неисчислимы богатства Мерчерие, заглядывалась на прохожих, смеялась, пила ледяной лимонад, ела конфеты...

Крики продавцов воды и сладостей покрывали даже гул, неумолчно стоящий на Мерчерие с полудня, когда открывались лавки, до глубокой ночи, когда они закрывались. Казалось, торговцы caramelli орала для собственного удовольствия! Зажмурится, пошире расставив ноги и прижимая к себе лоток с товаром, – и начнет выводить ноты, одну пронзительнее другой, а тут давно уже стоят дети и взрослые с сольди в руках, ожидая, когда артист достаточно накричится и можно будет взять у него обваренную сахаром фигу, или весь в леденцовой коре апельсин, или нанизанные на палочку и посыпанные сахарной пудрой орехи, изюм, виноград...

Троянда засмеялась от счастья. Боже, Иисусе Сладчайший! Ей чудилось, будто она заново родилась. Сколько уж лет – десять, а то и больше? – толком не бывала она на улицах Венеции?

Конечно, в День Святого Марка все монахини из всех монастырей, в черных вуалях и черных платьях, наводняли церковь на главной площади, где был похоронен евангелист.

Троянда почему-то недолюбливала Святого Марка (хотя казалось бы, чем перед нею провинился смиренный апостол веры?!), особенно не нравилось ей это имя, почему-то часто являвшееся в снах и напоминавшее короткий окровавленный обрубок, – все-таки его день был для всех истинным праздником, которого с нетерпением ждали до будущего года, бесконечно вспоминая, как становились на колени на плитах, касаясь ног бронзового Христа и безостановочно творя крестное знамение; как бросали монеты в ящик, которым обносили церковь, собирая подаяние «для бедных умерших...».

Почему-то Троянда всегда норовила стать рядом с застывшими в дружеских объятиях четырьмя статуями из красного порфира. Венецианцы называли их quattro mori – четыре мавра. Говорили, что статуи были поставлены здесь в память о неудавшейся попытке ограбления сокровищницы Сан-Марко, предпринятой четырьмя сарацинами. Под скульптурами выбита была старинная венецианская поговорка: «Замышляй и поступай как знаешь, но помни о последствиях».

Слова эти казались Троянде чарующим, но бессмысленным звуком: сама-то она ничего не могла «замышлять и поступать» по своей воле! Потом процессия прелатов выступала вереницей, и вдоль столбов двигались белые и золотые митры, узорные и мерцающие ризы. Начиналось песнопение – странное и прекрасное, состоящее из чередования очень высоких и низких голосов, – нечто вроде монотонного речитатива, оставшегося, может быть, еще со времен византийского владычества. Музыкантов и певцов видно не было, неизвестно, откуда выходил этот речитатив; он реял и возносился вверх в багровом и пасмурном освещении, как голос бесплотного существа в сияющей пещере какого-нибудь духа...

Потом монахинь торопливо гнали в монастыри самыми безлюдными улочками, некоторые из которых были так узки, что даже солнечный луч не мог протиснуться между домами и порадовать своим светом обитателей нижних этажей, а девицы были настолько подавлены впечатлениями, что не в силах были смотреть по сторонам, на живую жизнь людскую. Да и грехом это считалось – жизнь живая... И сейчас Троянда впервые без ощущения греха смотрела на великолепный город, раскинувшийся на морском берегу.

Они уже дошли до конца одного ряда лавок и, стоя на Пьяцетте, собирались повернуть обратно, причем купец из ближней лавки, высокий, статный, чернобородый, всю уже зазывал их, вываливая на прилавок рулоны тканей, сверкающих невиданными иноземными переливами цветов.

Но Троянда взглянула на него мельком – никак не могла оторваться от созерцания города.

Она как бы в первый раз вглядывалась в голубоватый блеск, где из неподвижных вод каналов и лагуны в бесконечную даль разворачивалась грандиозная панорама мраморных дворцов и храмов, стройных колоннад, величавых памятников, смело изогнутых мостов, кружев, изваянных из камня, окаймлявших палаццо и церкви, мавританских, готических и византийских окон, полувоздушных балконов, зубчатых кровель, высоких остроконечных башен несчетных соборов, – и глаза ее не имели силы оторваться от этой фантастической картины. Право же, Венеция стала еще прекраснее, чем тринадцать лет назад, когда Троянда попала сюда. Нет, Дария! Тогда ее более всего поразило, что долгожданная земля, постепенно проступившая сквозь дымку морского рассвета, тоже плывет среди волн, как гигантский сказочный корабль. Она не могла поверить глазам – везде вода! Она охватывала и пронизывала весь город, разделяя его сине-зелеными лентами. А вдали, в тонкой дымке облаков, высились отроги Альп – точно бледная стена, отделяющая это водное царство от остального мира. Девочка тогда только воскликнула: «Батюшки-светы! Что за чудеса: дома из воды растут. Ну и город! Ни деревца – камень, вода и небо».

– Что? – спросил Аретино, и Троянда сильно вздрогнула, выронив от неожиданности засахаренную дольку померанца.

– А что? – рассеянно переспросила она.

– Ты говорила нечто непонятное, да так быстро, так удивленно! Полная абракадабра. Это на каком же языке?

– Да так, ничего, – невпопад ответила Троянда, подходя к ближайшей лавке и приподнимая краешек тончайшего, изукрашенного золотыми блестками кружева, похожего на паутинку, озаренную солнцем.

Но не видела она кружева, и онемевшие пальцы ее слепо, бесчувственно перебирали чудесное изделие.

А и вправду – на каком языке она вдруг заговорила? С чего? Почему ожило в памяти накрепко забытое? Язык – русский. Русь... это слово часто произносила Гликерия, но для Дарии оно было – пустой звук, и новая жизнь вытравила из памяти все слова родной речи, которую и сама Гликерия успела уже позабыть, предпочитая объясняться на итальянском. Право слово, пожелай Троянда повторить сейчас эти слова – не сможет ведь! Ушли как пришли, сгнули в безднах былого... оставив в памяти лишь одну картинку из того далекого, поблекшего дня, когда Дашеньку привезли в Венецию. Через площадь была высоко натянута веревка, и на ней, к великому удивлению людей, циркач прыгал голыми ногами, а также с привязанными к ногам деревянными башмаками и горшками. Он доставал палкой шапку, положенную на землю, он ловил и бросал тряпичные мячи, забавляя и ужасая публику до тех пор, пока вдруг, с поразительной внезапностью, не раздался тяжелый чугунный удар.

Девочка вздрогнула, подняла голову и увидела великолепную башню с аркой. Наверху башни имелся огромный круг, четко расчерченный короткими палочками, к которым тянулись две стрелки: одна длинная, другая короткая. В кругу было нарисовано также много солнц, и лун, и каких-то загадочных созданий. Над кругом виднелось изображение Богородицы с младенцем, перед которой двигались фигурки трех людей, предшествующие трубящим ангелом. Все они двигались мимо Богородицы, отдавая ей поклоны. Повыше, на фоне диковинных солнц и звезд, парил золоченый лев, раскинувший крылья. А самую верхушку башни венчал огромный колокол, в который били молотами два огромных человека. Их движения были странно замедленны, и Дашенька удивилась, как странно взмахивают эти люди своими не очень-то тяжелыми на вид молотами.

Чудилось, она век сможет глядеть на их размеренные движения, на стройную фигуру Богородицы, на золотого прекрасного льва, но тут голос человека, которого она боялась и ненавидела больше всех на свете, грозно рыкнул:

– Чего стала, грязная тварь! Самое время затолкать тебя в ту выгребную яму, где тебе и место! Пошли, ну? – И, грубо дернув девочку за покрытую синяками ручонку, он поволок ее за собой... как проволоку почти через полмира.

Тогда Дашенька не знала того, что знала теперь Троянда. Богородицу здесь называли Мадонной, а фигурки волхвов и ангела-вестника проходили перед ней только на праздник Вознесения. Золоченый лев звался львом Святого Марка, люди на башне были не живые, а бронзовые, и колокол бронзовый, а круг, изрисованный непонятными знаками, – чудесные часы, где отмечены не только цифры, но также лунные фазы, положение солнца среди знаков Зодиака и даты. Башня так и называлась: Torre del Orologio – Башня часов. Это было новое знание, однако... однако по-старому вздрогнула она, и сумасшедше заколотилось сердце, когда, вслед за последним внушительным ударом, послышался знакомый мощный голос, звучавший теперь совсем не грубо, а скорее льстиво и вполне добродушно:

– Чего ж вы стали, достопочтенный синьор и прекрасная синьора? Самое время зайти в лавку Марко и отмерить локтей по двадцать каждой из моих великолепных заморских материй!

* * *

У Троянды подкосились ноги, и она вцепилась в руку Аретино. Тот решил, что она подает ему знак заглянуть в эту лавку, и послушно направился туда. Троянда влачилась за ним, не чувствуя, как идет. Она словно бы вся обратилась в зрение: смотрела, не слыша ни звука, как шевелятся красные губы над холеной черной бородой, в которой не было ни одного седого волоска (и тут же сообразила, что помнит эту бороду другой: клочковатой, грязной); на округлое, излучающее довольство лицо (она помнила запавшие щеки измученного человека); на светящиеся приветливостью глаза... О сколько ненависти источали они давным-давно – чудилось, всю ненависть мира! – но иногда наливались мучительной болью, и эти мгновения были для Дашеньки самыми страшными!

Ее словно молнией ударило.

Была ночь, да... Ветер выл, за окном плясала холодная луна, и Дашеньке стало вдруг так страшно, так одиноко в своей бревенчатой, жарко натопленной светелке, где дрожал маленький огонек лучинки, а по углам таились шевелящиеся тени! Она вылезла из постели и неслышно, босиком выскользнула в сени, сделала несколько шагов, держась за стенку, чтобы не заблудиться в кромешной темноте, нашарила железное кольцо, потянула...

Дверь отворилась – и она увидела высокого и красивого чужеземца, Марко, которого частенько привечал дядя Михайла. Этот человек стоял, воздев окровавленный нож и безумным взглядом глядя на два тела, простертые у его ног.

Дашенька посмотрела туда – и отпрянула, и неслышно прикрыла дверь, и влетела в свою комнатку, забила с головой под одеяло, уверяя себя, что это морок, страшное видение, что не могла ее матушка лежать там – голая, неподвижная, залитая кровью! Нет, нет! Все привиделось. Надо сидеть тихо, надо уснуть – и к утру кошмар иссякнет...

Увы, к утру кошмар не иссяк, ибо утро Дашенька встретила в завьюженном лесу за несколько верст от Москвы, – и с тех пор вся жизнь ее превратилась в сплошной кошмар! Убийца ее матери держал в руках ее жалкую жизнь, и Дашенька чувствовала: стоит Марко заподозрить, что она знает об убийстве, – прикончит не задумываясь!

Теперь больше всего на свете она боялась словом обмолвиться, взглядом намекнуть на то, что страшная картина преследует ее неотступно. И незрелым, смертельно перепуганным своим умишком она поняла: чтобы не думать об этом, не выдавать своих мыслей, надо все забыть! И она забыла, забыла накрепко, на долгие годы... вспомнив лишь теперь, при звуке этих часов, при звуке этого голоса, при виде этого благообразного лица убийцы.

Беспамятство помогло ей выжить, а теперь казалось, будто она умирает...

– Троянда! О Мадонна, да что же это? Что с тобой, Троянда?! – пробился к ее сознанию знакомый голос, и она очнулась, поняв, что Пьетро почти держит ее на руках, встревоженно повторяя: – Что с тобой, Троянда?

– Троянда? – переспросил купец, судя по виду, искренне обеспокоенный состоянием знатной покупательницы. – Прекрасную донну зовут Трояндой? Имя удивительное, под стать ее красоте! Но на каком же это языке, позвольте спросить, синьор, и что оно означает?

– На каком-то славянском, – буркнул Пьетро. – Означает...

– Все хорошо, мне уже хорошо, – перебила его Троянда, утверждаясь на ногах и посылая успокаивающую улыбку своему заботливому возлюбленному и любезному купцу. – У меня просто закружилась голова от изобилия ваших сокровищ! Нужно немножко постоять на свежем ветру – и все пройдет.

Купец, страшно разочарованный тем, что богатая пара ускользнула, не оставив ему ни одного дуката, искусно скрыл свое огорчение. Но его притворство не шло ни в какое сравнение с притворством Троянды! Только она сама да ее мать, несомненно, глядящая сейчас на нее с небес, знали, чего стоило ей твердо стоять на ногах, и беззаботно улыбаться, и даже помахать на прощанье, утешая огорченного купца. Так же безошибочно, как в те далекие страшные дни, когда она чувствовала: чтобы выжить, надо забыть, – Троянда чувствовала и теперь: надо смолчать сейчас, чтобы отомстить! Одно слово, один взгляд – и убийца ее узнает, все поймет... исчезнет! Нет. Нет. Смерть уже нависла над ним, но еще никто не знает, где и как она найдет его – внезапная и неотвратимая месть!

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

1

Здесь и далее стихи даются в переводе Е. Арсеньевой.

2

Прощайте, госпожа! (итал.). – Здесь и далее прим. автора.

3

Кознями (старин.).

4

Беличьи шкурки (старин.).

5

Так называлась плеть, нарочно предназначенная для наказания жены.

6

Черт возьми (итал.).

7

Остров в Венеции, где испокон веков жили знаменитые кружевницы, как на острове Мурано – стеклодувы.

8

Государи, собирающие дань с народов, приносят дань своему рабу (лат.).

9

Грабитель кошельков у государей (лат.).

10

Головорезы, разбойники (итал.).

11

Храни Бог всякого от языка его! (итал.)

12

Бутыль для вина, оплетенная соломкою (итал.).

13

Верховный правительственный орган Венецианской республики в описываемое время.

14

Инкуб – мужской образ, который принимает дьявол или его подручные для искушения святых или монахинь. Мужчинам являются суккубы – дьяволицы в образе обольстительных красавиц.

15

«Формула отречения» ведьмы, означающая, что она предается дьяволу, состоит в чтении молитвы «Отче наш» наоборот: с последней буквы последнего слова.

16

Так в Венеции называют гондольеров.

17

Князь (итал.).

18

Канал Гранде, Большой канал (итал.) – самая известная протока в Венеции между островами, на которых расположен город.

19

Час вечерней молитвы в католических монастырях.

20

Маленький канал (итал.).

21

Piazza и Piazzetta (букв. площадь и площадка (итал.) – главные площади Венеции.

22

Бабник (итал.).

23

Главная торговая улица Венеции.

Купить: <https://telnovel.com/ru/elena-arseneva/severnaya-roza>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)